

Д. Красноперов

Губер из Пермши  
Воспоминание...



*Д. Красноперов*

*Губер из Пермь  
воспоминание...*

**ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ  
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРМСКИМ ПРИКАМЬЕМ**



**ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1989**

ББК 26.891  
Я 88

Сведения о том, когда и кто из писателей бывал в Перми или посылал сюда письма, рассеяны во множестве различных изданий дореволюционного времени. В этом сборнике впервые предпринята попытка собрать все сведения воедино и сделать своего рода литературно-краеведческую хрестоматию, материалами которой может воспользоваться читатель, любящий свой край и желающий лучше знать его историю.

Составитель *Д. А. Красноперов*

Рецензент  
кандидат филологических наук  
*Н. Ф. Аверина*

Я  $\frac{1805080000-51}{M152(03)-89}$  Без объявл.

ISBN 5-7625-0093-4

© Пермское книжное  
издательство, 1989

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Связи русских писателей с пермским краем давние и разнообразные. Пермь была губернским городом, удачно расположенным на перекрестке водного и железнодорожного путей из Центральной России в Сибирь. Поэтому многие вольные или невольные путешественники (А. Н. Радищев, В. А. Жуковский, Ф. М. Достоевский, Г. И. Успенский, М. Л. Михайлов, К. М. Станюкович) ехали в Сибирь через Пермь. Да и сама Пермь как далекая провинция России была местом ссылки отдельных государственных и общественных деятелей (М. М. Сперанский, А. И. Герцен, Н. Ф. Павлов, В. Г. Короленко, Н. Н. Гусев). Некоторые из дореволюционных писателей связаны с нашим краем своим рождением или длительным проживанием в нем (И. И. Варакин, С. А. Порошин, В. И. Штейнгель, Ф. М. Решетников, Л. П. Шелгунова, Д. Н. Мамин-Сибиряк), другие присылали свои письма в Прикамье (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой). Все эти факты нашли отражение в их литературном наследии и оставили заметный след в культурной жизни Прикамья.

Культурное прошлое нашего края привлекало и привлекает внимание исследователей, краеведов. Многие интересные его страницы изучены в трудах Д. Д. Смышляева, А. А. Дмит-

рива, В. В. Гиппиуса, П. С. Богословского, З. А. Ерошкиной и др. Но до конца еще не написана «литературная биография» Прикамья, на его литературной карте еще много белых пятен.

Данная книга — первая попытка раскрыть документальный материал о литературных связях известных русских писателей с нашим краем. Она не претендует на полноту освещения литературных фактов. Много, вероятно, еще останется за пределами книги, и поиски должны быть продолжены.

Сборник содержит в основном материал о связях писателей с Пермским Прикамьем. Включение в него писем М. М. Сперанского и воспоминаний В. И. Штейнгеля покажется, может быть, неправомерным, но оба они были тесно связаны с литературными кругами. Сперанский — фигура очень значительная в общественной жизни начала XIX века, с ним общались и о нем писали многие виднейшие писатели — от Пушкина до Толстого. Кроме того, Сперанский дружил с семьей Е. А. Арсеньевой (бабушки М. Ю. Лермонтова), ее брат, А. А. Столыпин, был близким и преданным другом Сперанского, дважды навещал его в ссылке в Нижнем Новгороде. Известно, что Сперанский по просьбе Арсеньевой подавал свой голос в защиту начинающего поэта, когда тот откликнулся на смерть А. С. Пушкина стихотворением «Смерть поэта» и вызвал бурное негодование «жадной толпы, стоящей у трона». Дочь Сперанского, Е. М. Багреева, была писательницей. В ее салоне собирались виднейшие писатели, считал за честь бывать там и Пушкин. В одном из писем своей невесте Наталье Гончаровой в 1830 году он писал:

*«Вчера мадам Багреева, дочь Сперанского, присылала за мной».*

*В. И. Штейнгель был дружен с поэтами-декабристами и сам сотрудничал в зарубежных изданиях А. И. Герцена.*

*Может вызвать сомнение целесообразность включения в сборник материалов об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, которые не были непосредственно связаны с Прикамьем, а лишь посылали сюда письма. Мы руководствовались тем, что оба они — титаны русской литературы, и осознание их причастности к истории литературного Прикамья уже рождает благоприятный отклик в сердцах тех, кто любит свой край и гордится им.*

*За основу расположения материала взят хронологический принцип — время пребывания здесь того или иного писателя.*

*Книга адресована прежде всего научным работникам, краеведам, журналистам, занимающимся проблемами краеведения. Она может быть полезной учителям, пропагандистам, работникам клубов и библиотек, к которым нередко обращаются с вопросами о литературном прошлом родного края, а также всем, кто интересуется вопросами литературного краеведения или биографией любимых писателей.*

*Александр Николаевич*

**РАДИЩЕВ**

**(1749—1802)**

Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» проехал Пермь дважды — по пути в сибирскую ссылку (ноябрь 1790 года) и возвращаясь из нее (май 1797 года). Оба раза он делал в Перми довольно продолжительные остановки: первая — с 18 по 28 ноября и вторая — с 10 по 15 мая.

Радищев встретил здесь своих петербургских знакомых: И. Д. Прянишникова, И. И. Панаева, И. У. Ванслова, И. Д. Шестакова и др., которые радушно принимали у себя «петербургского изгнанника». Не случайно поэтому в письме к своему начальнику и покровителю А. Р. Воронцову он сообщает из Перми: «Благоприятство отличное, которым я здесь пользуюсь, еще более скуку мою разгоняет».

После 10-дневного пребывания в Перми Радищев приехал в Кунгур и остановился у городничего Богдана Ивановича Остермейера, проведя здесь пять дней.

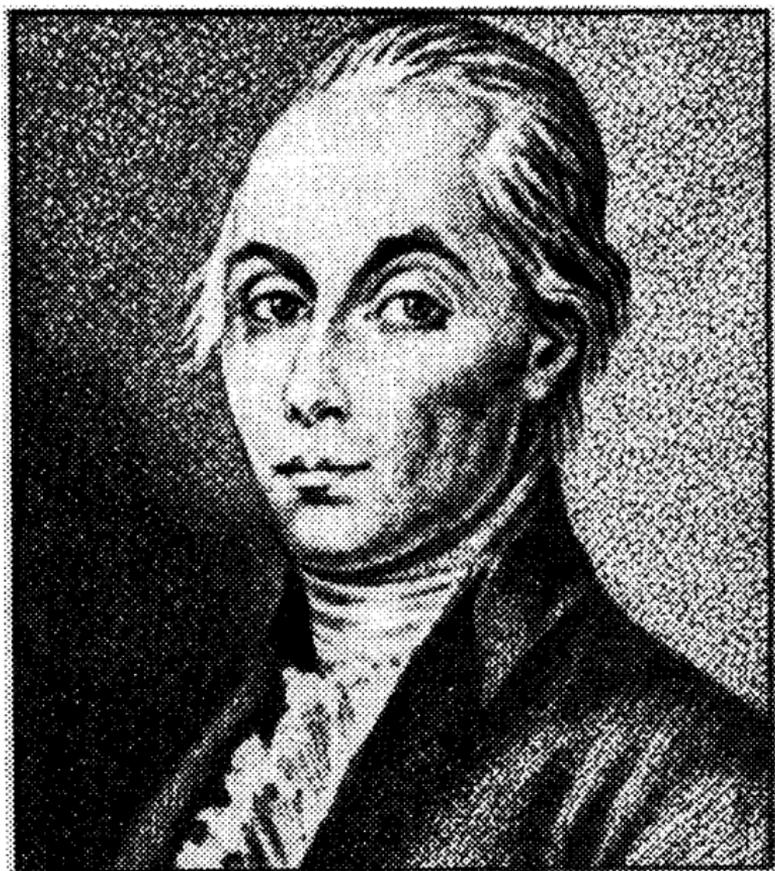
Ниже приводятся отрывки из путевых дневников «путешественника поневоле» и письмо А. Р. Воронцову, посланное из Перми.

### **ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВИЯ В СИБИРЬ**

17 ноября 1790 года

...От Чепцы до Сосновой 38 верст, казенная деревня. Стоят по станциям ямщики верхотурские. У почтовой избы висит доска, на которой написано, сколько от стану в обе стороны верст, — дабы не было спору и обманов, прислана от казенной палаты.

Село Дуброва, 26 верст, графа Строганова. В 25 верстах есть завод его же, железный. Мужики



кажутся в довольно хорошем состоянии. Строение: две избы и между их сени. Избы есть по крестьянскому состоянию очень хорошие.

Оханск город, 26 верст. От Сосновой к Оханску гористо, но горы невысокие. Подъезжая к Оханску, везде почти поля, и селения очень часты. Есть места положением прекрасные. Лес — ель по большей части и пихта. Подле речек чернолесье. Оханск имеет некоторые прямые улицы, одна церковь деревянная, стоит на Каме. Другой берег ее крутогорый и лесной.

18 ноября

От Оханска до станции Отодворки, названной по одной избе, построенной для житья содержащих почту ямщиков, 20 верст. Место низкое, между бережья. От Отодворки, поднявшись на гору и проехав лесом верст 12, откроятся во все стороны холмы и долины, от лесов обнаженные многие деревни и деревушки или починки и изгороди. И чем ближе к Перми, тем больше населения...

19 ноября

Пермь лежит на правом берегу Камы, вверх. Было село Егачиха. Начат строить 9 лет назад. Улицы прямые, строение деревянное, ряды тоже. По воскресеньям базар. Мастеровых мало. Горшки в приказе делают, разваливаются. Кирпичи также. В Перми промыслов мало, держат, однако же, всякие заморские товары. Лавки давно уже построены. Базары по воскресеньям. Продают хлеб, мясо, рыбу, воск, мед, посуду деревянную, крашеную и рисованную, железную и жестяную с заводов. Плотничное искусство невелико. Доставлять бревна не умеют. Столярное выписывают из Казани. Печников мало.

28 ноября

Выехали из Перми. До Каянова или Тасимки 24 версты. Живут татары. Компанейщики или приискатели руд отправляют, за недостатком ямских, почту. Других тягостей не платят, а сия всем тяжка. Место гористо, местами плоско.

До Яничева 15 (татарское). До села русского Крылосова — 25, до Кунгура — 20. Переезжая Кунгур, гора высокая. Стоит на реке Ирен и Сылве. Город старинный, худо построен. Бывший провинциальный. Старая воеводская канцелярия, в середине — большая ком-

ната со столами и скамьями для писцов, два столба, у одного цепь, в прихожей — отгородка решетчатая, осленистая<sup>1</sup> для сажания колодников. На горе старинная деревянная крепость, то есть забор с башнями, в коих ворота. На площади перед собором стоят 20 пушек чугунных на лафетах, из коих три годных. В сарае, называемом цейхгаузом, хранятся пушечки (фальконеты) Ермаковы и ружья весом в пуд или в 1,5... ствол чугунный, ложка деревянная простая, замок старинный с колесами. Тут же хранятся и орудия казни: топор, крюк, которым за ребра вешали, утюг, то есть кривое железо с рукою, шириною в 2,5 пальца, наподобие серпа, железцы или клеймы малые.

По Сылве ходят суда в Каму, а оттуда — в Волгу, романовки и шитики<sup>2</sup>, возят хлеб до Рыбинска; а от Макарья берут клади в Пермь; в казну ставят в Рыбинск по 45 коп. пуд, покупают в Кунгуре мукою по 17 коп.

Промысел кунгурский: кожевенный и сапожный, хлебный, разный заморский мелочный товар, но мало. Лавки отворяют по понедельникам в базар. Продают книги русские: прологи, четьи-минеи, «Квинта Курция»<sup>3</sup>, «Физиогномия»<sup>4</sup>. Берег Сылвы обделан местами деревом. Место красивое, вокруг поля. На базаре продают хлеб свой, рыбу из Сибири, свежую и соле-

<sup>1</sup> Осленистая (от «осленути») — темная.

<sup>2</sup> Романовки — речные суда, названные по городу в Ярославской губернии; шитики — мелкие речные суда с нашитыми бортами.

<sup>3</sup> «Квинта Курция» — история об Александре Великом, царе Македонском / Перевел с лат. Степан Крашенинников. — Спб., 1750.

<sup>4</sup> Имеется в виду книга «Физиогном или хиромантик совершенной или хиромантическое зеркало, открывающее таинственные секреты природы, как узнавать нравы и участь каждого, то есть щастие или нещастие человеческого тела, чертам лица и рук и прочим признакам, с гравированными для ясности фигурами». — М., 1795.

ную, хмель из России, сено, дрова, масло льняное, лен, оглобли, горшки чугуниники<sup>5</sup>, патоку, сало. Многие кунгурские купцы имеют откупы винные в других городах. Один построил стеклянный завод за 25 верст от города, на татарской земле. Купцы берут оную землю в кортому<sup>6</sup>, имеют и свою по крепостям, нанимают работников и пашут. Жать платят поденно 20 коп.

4 декабря

Выехали из Кунгура. До села Усть-Репинского, или Сабарки, по речке 31 вер. Село казенное, приписано к демидовскому заводу за 200 верст, избы плохие. Работа состоит в рубке дров, по 3,5 сажени с души, за сажень получают лово (?), а сами платят по 1 руб. Проезжали полями, на коих оставшие большие сосны свидетельствуют, что бывал лес. По дороге на 39 вер. селений нет, но много по сторонам. Ночевали.

Село Златоустово, или Ключи, при речке Ирене, которая почти никогда не мерзнет, течет быстро. 22 вер. проезжали горами. Лес — бор сосновый, много вырублено. 10 вер. от Сабарки близ Суксуна гора высокая, почти в версту, и очень крутая, состоящая из известкового камня белого. Виден завод демидовский медный и железный, на котором делают посуду.

Село Ключи, в нем 1300 душ, приписано к казенным Иргинским заводам за 110 верст.

До Быковской 15, несколько гористо, редкий сосняк. Навоз везде почти кидают. Везде волостные избы и суды. Староста с выборными...

---

<sup>5</sup> Речь идет о чугунных горшках, которые в некоторых местностях России назывались чугуниниками (или чугунами).

<sup>6</sup> Кортом и кортома (по Далю) — наем, прокат, аренда, оброк, откуп.

## Письмо А. Р. Воронцову

Милостивый мой государь, граф Александр Романович.

Письмо вашего сиятельства через его превосходительство Алексея Андреевича<sup>7</sup> и сделанные по приказанию вашему для меня вещи и остальные деньги от Ивана Ивановича Панаева я получил. Если в долговременное мое пребывание в команде вашего сиятельства известным сделалось вам мое сердце, то вы не усомнитесь в присной и живо существующей в нем признательности за все благодеяния ваши ко мне. Если бы и на меня еще не простирался, но коснулись бы только моего несчастного семейства, то алтарь в душе моей воздвигнут будет и восходить непрестанно наичистейшая жертва благодарности.

Пенять, ни сетовать мне не на кого совершенно, как то ваше сиятельство изволите примечать справедливо. Я сам себе устроил бедствие и стараюсь сносить казнь мою с терпением, но часто оно бывает недостаточно. Вооружуся надеждою и разсудком, но как скучно вспомнить, что я живу в разлучении от детей моих! Разсудка уже более во мне нет, и едва надежда не отлетает. Если кто знает, что действительным блаженством я полагал быть с ними, тот может себе вообразить, что скорбь моя должна быть безпредельна.

Вашему сиятельству угодно знать о моем положении относительно моего здоровья, то до приезда моего в Москву оно гораздо было хуже, нежели казалось. Выехав из Нижнего, я было занемог совершенно, но помощью лекарства, которыми я запасся в

---

<sup>7</sup> Алексей Андреевич Волков — генерал-губернатор Пермско-Тобольского наместничества.

Москве, я до приезда моего в Казань получил облегчение. Наступившая зима и морозы укрепили слабое мое телосложение, и я теперь, слава богу, здоров.

Касательно до душевного моего расположения, то я солгу, если скажу, что я покоен. Душа моя болит и сердце страждет. Если бы не блистал луч надежды, хотя в отдаленности, если бы я не находил толикое соболезнование и человеколюбие от начальства в проезд мой через разные губернии, то признаюсь, что лишился бы, может быть, и совсем разсудка.

Разум мой старался упражняться, сколько возможно, то чтением, то примечаниями и наблюдениями естественности, и иногда удается разгонять мне черноту мыслей. Благоприятство отличное, которым я здесь пользуюсь, еще более скуку мою разгоняет. Уверенный, что семейство мое будет всегда под вашей защитой, уверенный, что и я забыт вами не буду, если могу только на месте моего пребывания найти всегдашнее упражнение, которое бы занимало не только силы разума, но и тела, то надеяться могу, что, сделав к спокойствию первый шаг, время, великой целитель всех человеческих скорбей, совершит мое начинание, а тем скорее, если могу иметь утешительное удовольствие видеть на месте моего пребывания кого-либо из моего семейства.

Извините, ваше сиятельство, долготу моего письма. Изливаю скорбь свою перед сердцем чувствительным, душа от оной находит облегчение, и тем величайшее, что бдительное ваше благодеяние, призирая меня в отдаленности, подкрепляет и малополучное и бедственное мое семейство. Бог вам даст за благое; молитва моя к нему о вас может единственное от меня быть признание.

Есмь с глубочайшим почтением и преданностью

нелицемерною вашего сиятельства, милостивого государя моего, покорнейший слуга

Александр Радищев.

22 ноября 1790 года

## ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ СИБИРИ

7 мая 1797 года

...В деревню Быковскую приехали ввечеру. Горы видны вдаль — в левой стороне, а от них долины, на коих бывал лес. Изредка стоят сосны, много бортей<sup>8</sup>. От Быковской в ночь полями, пашнями, перелесками, спуски. В село Ключи приехали поутру 8-го числа. Сие селение протекает река Ирень, очень быстрая, через нее мост. Селение версты на три или четыре. От Ключей через поля, возвышенные к реке Суксун, которую переезжают в селении по мосту близ мельницы, в правой стороне пруд версты на 4, на версту шириною принадлежащий Суксунскому медеплавильному демидовскому заводу. Проехав селение близ церкви, поднявшись на высокую и крутую гору, ехали полями, рощами окруженными, до Сабарки, лежащей в ямине. Вид пруда, окруженного селениями, пашнями, рощами и сосновыми чистыми рощами, приводил на ум Женевское озеро. Из Сабарки, напившись чаю, часу в десятом поехали в Кунгур, приехали в 5. Городничий...<sup>9</sup> копия с моей книги.

Вид Кунгура, лежащего на высоком берегу Сылвы, в которую при городе впадает Ирень: берега белого

<sup>8</sup> Борть — улей в дупле для диких пчел.

<sup>9</sup> В рукописи пропуск. По предположению А. Г. Татаринцева, автора книги «Радищев в Сибири», пропущено слово «Остермейер» — фамилия кунгурского городничего.

известного плитняка; за разливом реки Бабки дорога идет другою дорогою.

Переночевав, выехали 9-го, в Николин день. Перевоз в городе партикулярный<sup>10</sup>, платят, что хотят. В пяти верстах переезжали речку Шахву при селе. Тут мужик говорил, что у них купцы землю пашут, на что дала казенная палата указ. Ехали до станции Зарубина 15. От Зарубина дорога идет высоким берегом и выходит к Сылве, где вид прекрасный, потом до Сергинской слободы через лес, близ Сылвы...

Простояв долго в Сергах, поехали лугами до горы весьма крутой, потом через лесок до Закоптеловой и за ней до перевоза через Сылву. Ночью, на берегу переменяв лошадей, ехали лесною и мокрою дорогою до сельца Кольцова, принадлежащего князю Шаховскому. Мужики разорены, и деревни в опеке. Поутру 10-го числа, напившись чаю в Кольцове, ехали перелесками 14 верст до обыкновенной дороги Кунгурской, которая выходит при деревне Лобановой. Тут много попадалось работников с коломенок<sup>11</sup>, плывших по Чусовой. Ехали пашнями, лугами, перелесками до Перми.

От 10 до 15 мая

Пробыв в Перми с немалым удовольствием в доме И. Д.<sup>12</sup> и получив письма, согласился плыть по Каме до Лаишева. Отвалили после полудня, но не могли по причине восставшей паки погоды отплыть далее верст 30-ти.

---

<sup>10</sup> Частный.

<sup>11</sup> Коломенки — суда грузоподъемностью до 12 тыс. пудов (1600 т).

<sup>12</sup> И. Д. — Иван Данилович Прянишников, председатель Пермской гражданской палаты, сослуживец А. Н. Радищева до и после его ссылки.

16 мая

Простояв пониже села Нижних Мулов, в 25 верстах сухим путем от Перми, плыли уже тихою погодою даже за Оханск.

Берега Камы все лесисты, нагорный берег то идет по правую, то[по]левую сторону реки. Лес был голый. Зелени не было, только набрали по вспаханному полю много пестиков, род дикой спаржи, не очень вкусной, которую простой народ приготовляет в пирогах; малые ребята брали его по полям, может быть, ради крайней бедности.

17-е

Проплыли Осу в трех верстах от Камы на возвышенном берегу при тихой погоде.

18

Плыли при малом ветерке. Берега лесисты, но есть поля расчищенные. Чем далее плыли, тем зелень начала показываться; сей день видели первый дубняк. По расчищенным полям, ибо степей не видно, думать надлежит, что люди уже живут в сих местах давно.

19

Поутру рано ездил на лодке в Сарапул. Нашел дальнюю родню. До Сарапула в разных местах заводские пристани. В Сарапуле пристань хлебная, откуда попадалися суда, идущие в Пермь, ибо заводы со времени неурожая хлеба за Уралом довольствуются отсюда. Много хлеба с Камы идет в Россию. На базаре или рынке пусто, было рано. Чем далее плыли, тем более видели зелени. Осими большие, и лес одевался.

Восставший ветер понудил ночевать близ села, ибо боялися проплывать устье реки Белой, в 4-х верстах от сего места, где Кама разлилась верст на 20 и бывают разбойники. Вечером слышен свист соловья.

# Иван Иванович ПАНАЕВ (1753—1796)

В Перми с 1781 по 1796 год (исключая 1784 и (1785 годы)<sup>1</sup> жил и работал губернским прокурором. И. И. Панаев — страстный поборник просвещения народа, соратник известного просветителя XVIII века Н. И. Новикова, создатель и руководитель одной из самых прогрессивных масонских лож в Перми — «Ложы Золотого ключа»<sup>2</sup>. Не случайно поэтому он стал первым директором народных училищ Пермской губернии. Это он заметил талант ученика пермского народного училища Алеши Мерзлякова<sup>3</sup> и способствовал развитию его поэтического дара, сделал все возможное для продолжения Мерзляковым образования в Московском университете. Это он в 1790 году принимал у себя А. Н. Радищева, который в письме А. Р. Воронцову из Перми сообщал: «...вещи и остальные деньги от Ивана Ивановича Панаева я получил».

Начав свою службу флигель-адъютантом в штате генерал-аншефа, командира финляндской дивизии (с 1781 года главнокомандующего Москвы) графа Якова Александровича Брюса (1742—1791), Панаев со своим начальником посещал великосветские салоны, где познакомился с виднейшими представителями русской культуры XVIII века — Г. Р. Державиным, Я. Б. Княжнинным, И. И. Тургеневым, И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным, Н. И. Новиковым и др., активно участвовал в кружке любителей литературы и сам писал трактаты религиозно-нравственного содержания. По отзывам его сына, поэта и академика В. И. Панаева (1792—1856), сочинения его отца «ценились выше всех прочих... читанных в сих... собраниях».

Известность И. И. Панаева в литературных кругах

<sup>1</sup> В эти годы И. И. Панаев был переведен на должность губернского прокурора в Казань.

<sup>2</sup> Золотой ключ — давний символ книги, ключ к знаниям, принятый эмблемой книгоиздательства, библиографии и библиофильства.

<sup>3</sup> Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — профессор словесности Московского университета, поэт и переводчик, уроженец г. Долматова Пермской губернии.

подтверждается тем, что ему посвящен был перевод эпистолярного романа Дора Клод-Жозефа «Несчастья, от непостоянства происходящие».

Глубокий интерес к литературе — фамильная черта Панаевых. Так, его сыновья Николай, Иван и Александр, по воспоминаниям писателя С. Т. Аксакова, учившегося вместе с ними, были членами «Общества любителей русской словесности» при Казанском университете, выпускали рукописный журнал «Аркадские пастушки», сотрудничали в московских журналах «Вестник Европы» и «Благонамеренный». Наибольшую писательскую известность приобрел младший сын Владимир, который стал крупным поэтом-идилликом, впоследствии избранный академиком. Внук пермского прокурора Иван Иванович Панаев (1812—1862) был редактором и издателем журнала «Современник», в котором сотрудничали и его двоюродные братья — Ипполит Александрович Панаев (1822—1901) и Валериан Александрович Панаев (1824—1899).

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. И. ПАНАЕВА

Я родился 6 ноября 1792 года в уездном городе Тетюш<sup>1</sup> Казанской губернии. Мать моя, Надежда Васильевна, урожденная Страхова, была в последних месяцах беременности, когда отец мой, пермский губернский прокурор, коллежский советник Иван Иванович Панаев, вызванный тогдашним генерал-прокурором князем Вяземским для получения из рук императрицы назначенного ему ордена св. Владимира 4-й степени (с такой торжественностью жаловался тогда этот орден), должен был ехать в Петербург. По настоящему положению супруги своей он счел за лучшее отвезти ее, почти мимоездом, к матери, вдове Анне Ивановне Страховой, барыне довольно достаточной, имевшей полторы тысячи душ, производившей род свой от шведских баронов Аминевых и постоянно жившей в означенном городе Тетюши, окруженном четырьмя ее деревнями.

Оставляя на руках заботливой тещи беременную жену свою, он был покоен насчет ее разрешения и только просил, чтобы новорожденное дитя — если это будет дочь — было наименовано Екатериною, а если сын — Владимиром. Родился я, и, вследствие этого завета, наречен именем просветителя России.

В «Словаре достопамятных людей земли русской», изданном Д. Н. Бантыш-Каменским, помещена биография отца моего, составленная, большей частью, по документам, от меня им полученным. Чтобы не писать новой, вношу ее сюда целиком, кроме конца, где благосклонному издателю, некстати и без моего ведома, вздумалось посвятить несколько строк собственно мне.

Панаев Иван Иванович родился 23 сентября 1753 года в городе Туринске. Отец Ивана Ивановича, надворный советник Иван Андреевич Панаев, бывший в продолжение многих лет туринским воеводою, пользовался общим уважением края.

Первоначальное воспитание Ивана Ивановича в доме родительском ограничивалось русскою грамотою, чтением церковных и небольшого числа старинных исторических книг. Отец его, всегда сохранявший важную наружность, пышность в одежде и некоторую недоступность в обращении, держал его довольно строго; но строгость умерялась ласками матери. Иван Иванович питал к ней нежнейшую привязанность и почти благоговейное отношение к родителю. Товарищей детства, кроме двух родных сестер, у него не было, потому что воевода туринский, любимый и отличающийся перед прочими главным правителем Сибири известным губернатором Денисом Ивановичем Чичериным, держал себя слишком высоко в отношении к своим подчиненным. Все это вместе, при уединении уездного городка, оставило решительные следы в характере Панаева: покорность обстоятельствам, благо-

чество, склонность к занятиям важным и к созерцательности. Одиннадцати лет он был записан в гвардию, но до 15-ти оставался в отцовском доме. Около этого времени Чичерин, объезжая Тобольскую губернию, посетил в Туринске Ивана Андреевича. Красивая наружность молодого Панаева, высокий рост не по летам, скромность, умные ответы обратили на него внимание губернатора. «Зачем ты держишь такого молодца дома? Чему он здесь научится? Отпусти его со мною в Тобольск. Я попекусь о его воспитании», — сказал он воеводе. Иван Андреевич с должною благодарностью принял такое милостивое предложение и благословил сына в дорогу. Отселе наступила новая эпоха в жизни его: Чичерин перечислил красивого юношу прапорщиком в один из полков, состоявших в Сибири, поместил его в пышном своем доме, приставил к нему лучших учителей из числа так называемых несчастных<sup>4</sup> и лиц духовного звания. Панаев постиг всю цену оказываемых ему благодеяний: не терял времени понапрасну, занимался науками с необыкновенным прилежанием, в особенности богословием, историею и словесностью; между прочим, выучился по-латыни. Быстрые успехи и примерная во всех отношениях нравственность укоренили в чувствах Чичерина отеческую к нему любовь. В 1774 году, когда Панаев произведен был в подпоручики, он отправил его в Петербург с рекомендательными письмами. В следующем году Панаев является уже адъютантом генерал-майора графа Михаила Петровича Румянцева, сына фельдмаршала, а через четыре — флигель-адъютантом генерал-аншефа графа Брюса, который был женат на сестре Задунайского. Дом престарелой матери великого полководца был не только средоточи-

---

<sup>4</sup> Ссылных.

ем родственного и дружеского круга фамилии Румянцевых, но и всего высшего петербургского общества. Графиня Мария Андреевна, игравшая важную роль при дворах Петра Великого, Екатерины I, Анны и Елизаветы... несмотря на восьмидесятилетнюю старость свою, отличалась умом, любезностью и великим запасом сведений о необыкновенных и любопытных событиях сих четырех царствований. Сквозь блестящую толпу окружавшей ее знати она заметила молодого Панаева и почтила его особым вниманием. Панаев сделался у ней домашним человеком и в обыкновенные дни составлял партию ей в марьяж, в ломбер и в вист. Но большой свет не вскружил ему головы: все свободное время от нетрудной своей службы и обязанности играть в карты со старой графиней употреблял он на упражнения в литературе и на беседы с образованными людьми того времени. Таковы были: Новиков, Иван Владимирович Лопухин, Эмин, Державин, Княжнин, Дмитриевский. У последнего брал он уроки декламации, ибо страстно любил драматическое искусство и нередко, даже в зрелых уже летах, с великим успехом занимал на домашних театрах роли Ивана Афанасьевича. Круг просвещенных друзей его вскоре увеличился присоединением Поздеева, двух Габлицей и Ивана Ивановича Тургенева. Стремление к истинному просвещению, утвержденному на правилах христианской веры, было основанием их союза. Они собирались друг у друга беседовать о сих важных предметах, читали чужие и свои собственные сочинения в этом духе. В числе посетителей сих бесед были князь Николай Васильевич Репнин, князь Гавриил Петрович Гагарин и некоторые другие лица из высшего круга. Здесь открылось обширное поле дарованиям Панаева. Его произведения, проникнутые любовью к богу и человечеству и написанные таким

языком, каким до того времени (до 1779 года) едва ли кто писывал, ценились выше всех прочих, читанных в сих немногочисленных, но избранных собраниях, и не раз были удостоены внимания наследника престола, великого князя Павла Петровича. К сожалению, Панаев, по необыкновенной своей скромности, никогда не печатал своих сочинений, что составляет истинный ущерб для истории нашей словесности.

Между тем приближалось открытие губерний на основании нового, начертанного Екатериною Великой, учреждения. Многие молодые люди, соревнуя благим намерениям императрицы, решились оставить военную службу и занять, сообразно чинам своим, места губернские. Панаев был в числе их.

В 1782 году Панаев определен был губернским стряпчим в Казань<sup>5</sup> и женился на дочери тамошней помещицы Страховой, Надежде Васильевне, которая с прекрасной наружностью соединила все женские добродетели, в особенности — чего более всего искал он — благочестие и неограниченную преданность воле божьей. Эту женитьбою вошел он в родство с Гавриилом Романовичем Державиным, который был двоюродный дядя его супруге<sup>6</sup>. Года через три Панаев переведен губернским прокурором в Пермь.

Ведя постоянную переписку с петербургскими и московскими своими друзьями (в числе последних были профессора Брянцев, Чеботарев, Страхов), Панаев

<sup>5</sup> Как установил А. Г. Татаринцев, эти сведения сына И. И. Панаева ошибочны: губернским стряпчим И. И. Панаев был назначен не в 1782-м, а в 1781 году, и не в Казань, а в Пермь. В Казань он был переведен на некоторое время в 1783 году.

<sup>6</sup> На самом деле Н. В. Страхова была троюродной племянницей Державина по линии жены, урожденной Дьяковой. Сестра Дьяковой стала женой В. В. Капниста (1758—1823), а внучка Капниста (Державину она приходилась уже двоюродной племянницей) Анна Ивановна Страхова и была матерью Надежды Васильевны, жены И. И. Панаева.

получил через них все лучшие издаваемые тогда книги и снабжал ими своих приятелей. Он в особенности любил руководствовать молодых заблудших людей и многих поставил на путь истинный. При открытии народных училищ Панаев вызвался принять в свое заведение Пермское народное училище и обязанность свою исполнял с истинным отеческим попечением.

Однажды посетив вечером ассессора тамошней гражданской палаты, он случайно завел разговор с 14-летним худо одетым мальчиком, который принес в комнату черный чайник (самовары были тогда еще не в общем употреблении). Ответы мальчика, из которых, между прочим, оказалось, что он племянник хозяина (человека весьма недостаточного) и читает уже книги, так понравились Панаеву, что он, сделав дяде выговор за пренебрежение дальнейшим воспитанием племянника и употребление вместо слуги, на другой же день записал его в училище и стал обращать на него особенное внимание. Спустя год мальчик принес ему сочиненную им оду на день восшествия на престол императрицы. Достоинство стихотворения было выше всякого ожидания. Иван Иванович с восхищением увидел, что для развития такого дарования круг Пермского народного училища слишком тесен. В таком убеждении он поручил одному из новых друзей своих, г. Походяшину, отъезжавшему в Москву, свезти его в тамошний университет, наделил мальчика рекомендательными письмами к тогдашним кураторам: Хераскову, Тургеневу и Фонвизину, а супруга Ивана Ивановича снабдила его нужным бельем. Этот мальчик был Алексей Федорович Мерзляков — одно из блестящих светил нашей поэзии, принесший столько чести и пользы Московскому университету.

Осенью 1796 года тяжкая болезнь родителя вызвала его в Туринск. Он поспешил к нему вместе со

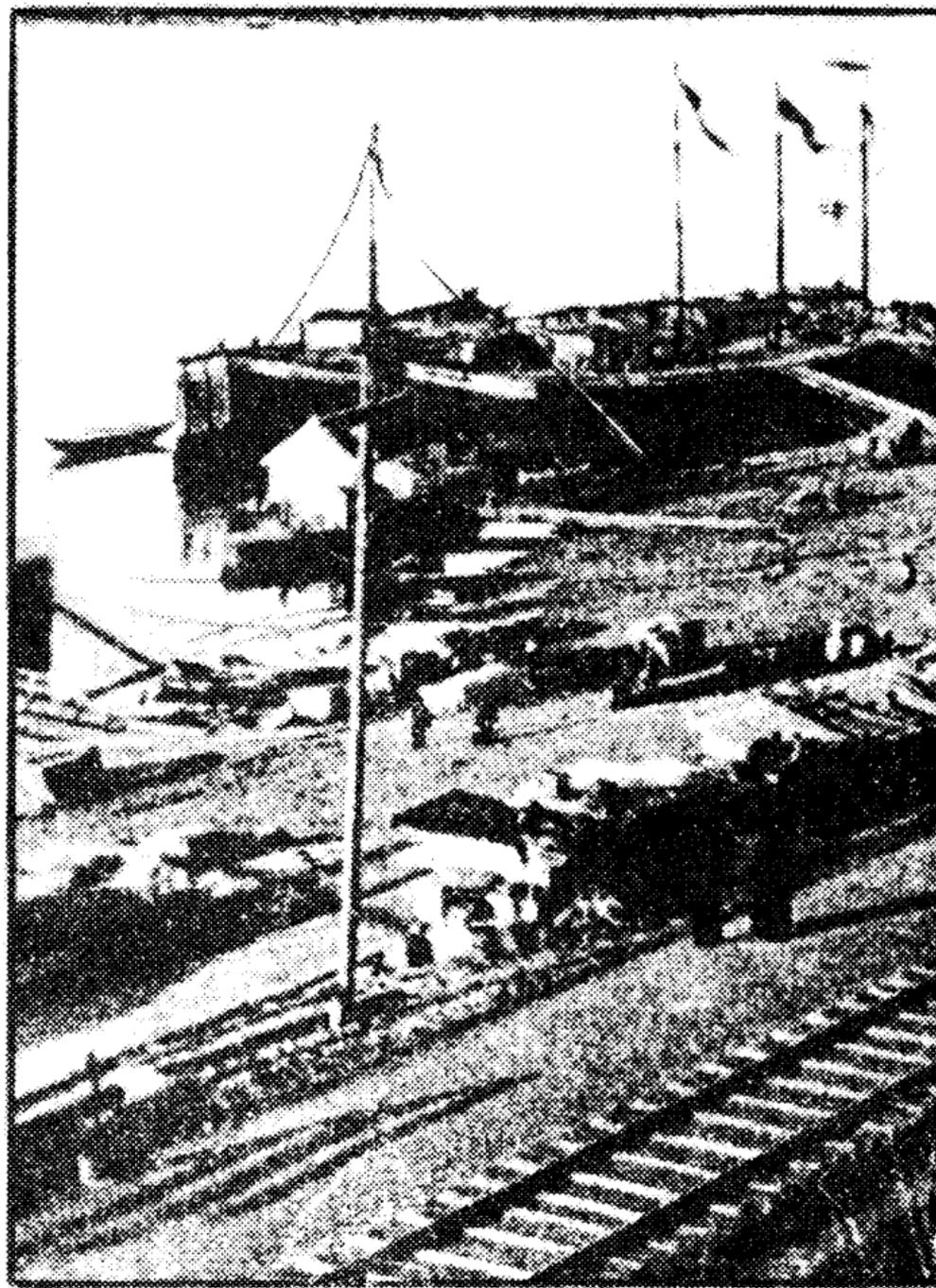
своею супругой, нежно им любимой, и почти со всеми детьми и имел горестное утешение лично отдать отцу последний долг; но через несколько дней (26 октября), на возвратном пути из Сибири, скончался от жестокой горячки в Иrbите, где и погребен у соборной площади. Смерть постигла его 43 лет от роду. Восьмерым малолетним сиротам своим (пятерым сыновьям и трем дочерям) он оставил самое ограниченное состояние и, вместе с тем, великое богатство — прекрасную память о себе. Император Павел, вскоре по вступлении на престол, вспомнил о Панаеве, повелел генерал-прокурору князю Куракину отыскать его, но он, как мы уже сказали, скончался за десять дней до воцарения нового государя.

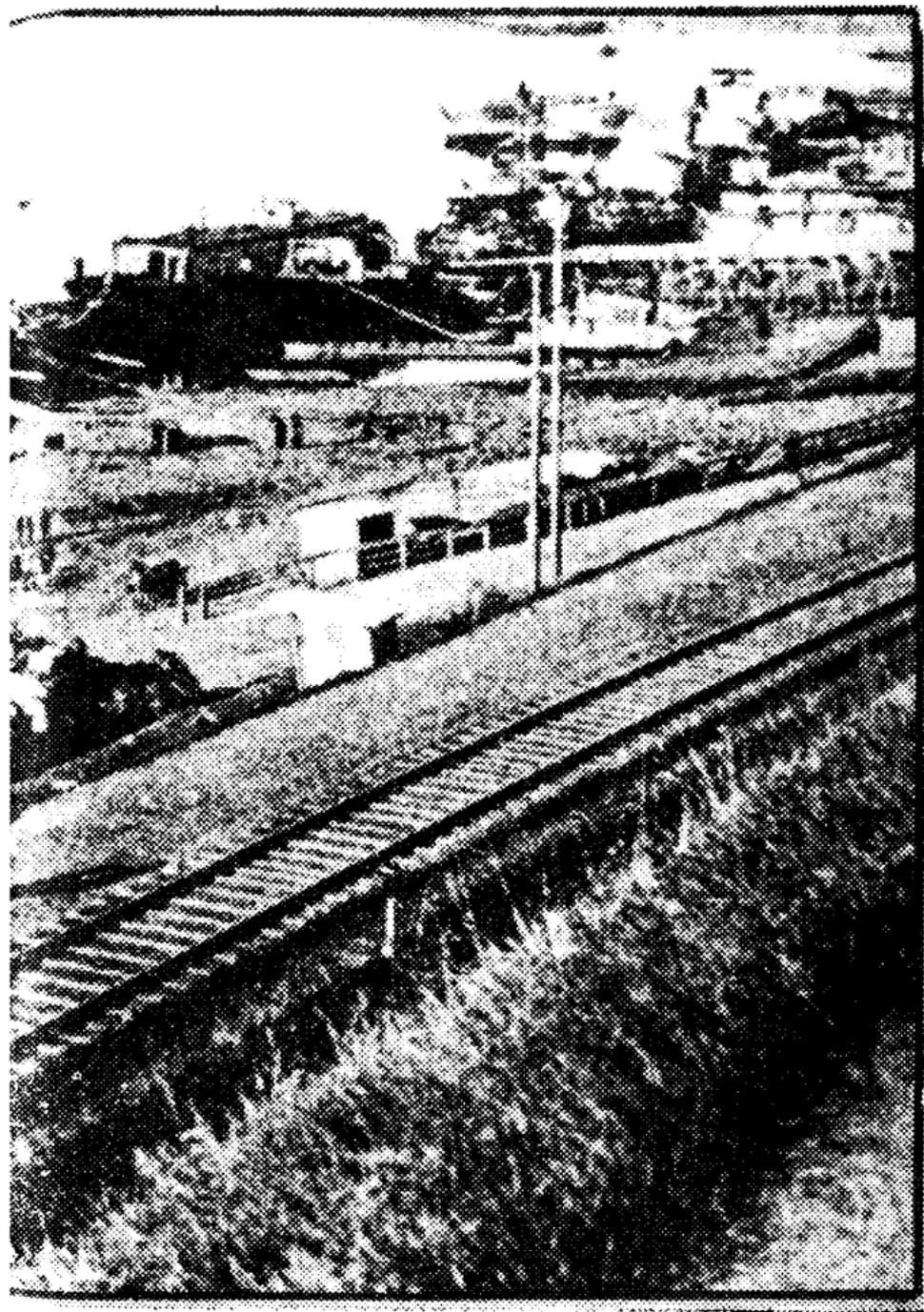
Независимо от объясненной выше родственной связи семейства нашего с Державиным, отец мой, принадлежа к образованнейшим людям своего времени и будучи в коротких отношениях с тогдашними литераторами, еще до женитьбы на моей матери пользовался знакомством и добрым расположением Державина. Доказательством тому, между прочим, служит нижеследующее письмо отца моего, которым поздравлял он Державина с получением ордена св. Владимира II степени.

### **Письмо И. И. Панаева Г. Р. Державину**

Милостивый государь  
Гаврила Романович!

По искреннейшей преданности и привязанности к Вам моей сердечной судите о той радости, какую я чувствовал, получа известие о последовавшем к вам во второй день сентября монаршем высочайшем бла-





*Пристани на Каме в Перми*

говолении<sup>7</sup>. Моя радость была одна из тех, коих источник в самой душе находится. Больше я не могу изъяснить. Примите мое поздравление с новыми почестями, на вас возложенными, Вы, любящий добродетели и правоту сердца. Да умножится и благополучие ваше — к удовольствию добрых и честных людей. С сим чистосердечным желанием и совершенным высокопочтением пребуду навсегда, милостивый государь,

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга  
Иван Панаев.

Октября 11 дня 1793 года, г. Пермь.

### Письмо к Ивану Ивановичу Панаеву от переводителя<sup>8</sup>

Для тебя, друг мой, предпринял я перевести с французского языка сии письма; тебе и приношу мои труды, есть ли так можно назвать то, что я между другими упражнениями вместо отдохновения исполнил.

Хотя ты, не зная французского языка, не можешь сравнивать копию с оригиналом, однако я от тебя не скрою, что далеко отстоит мое предложение от подлинника. Недостаток сил моих в красноречии не допустил меня уподобиться величественному выражению, которыми сильная душа англичанки Сидлей в письмах изъясняется. Не мог я достигнуть и до того блиста-

---

<sup>7</sup> 2 сентября Державин пожалован в сенаторы с производством в тайные советники и в то же время получил орден Владимира II степени.

<sup>8</sup> Данное письмо является предисловием к русскому переводу романа в письмах французского поэта Дора Клод-Жозефа (1734—1780) «Нещастия, от непостоянства происходящие, или письма маркизы Сирсе и графа Мирбеля». — Спб, 1778. Автор перевода и письма к И. И. Панаеву — Михаил Алексеевич Пушкин, живший в то время в Тобольске. Перевод романа был опубликован при содействии И. И. Панаева, имевшего широкие литературные связи.

тельного красноречия, с которым герцог, как будто шутя всем, что есть в свете важно, играет. А наипаче много не сравнивался я с тою чувствительностью сердца и нежностью мыслей, которыми письма маркизы Сирсе наполнены. Много потерял я важности в изречениях добродетельного Жерака и огненных изъяснениях отчаянного Мирбеля; однако в том, кажется мне, старание мое получило успех, чтоб сохранить характеры в точной силе всех лиц.

Содержание оных писем изображает ясно образ общества больших городов во всех просвещенных народах; ты теперь в одном из тех находишься: много глаз твоим герцогов представляется. Но видел ли ты одну Сидлею или одного Жерака? О, сколь прелестно есть пасть... так, как пала Сидлея! Маркиза Сирсе много подобных себе имеет в слабости ее. Она есть обыкновенна всем чувствительным сердцам; но немного подобных ей в невинности ее намерений. Она примером тому служит, что кто не спасается бегством страстей при самом их начале, тот напрасно уповает на свои силы. Все оные и рассуждение против вскоренившейся страсти тщетны. Мирбель есть ясный образ всех молодых людей, недавно вшедших в большой свет, однако таких, которым при воспитании вкоренены в сердце правила добрых нравов, справедливости и благочестия; в нем видишь, мой друг, ясный пример, сколь мнимые веселья и непостоянство приносят горькие себе и другим плоды.

Прельщает тебя блестящая красота герцога и его правил: он, кажется, арифметически исчислил все причины, все действия женщин и все полезности, которыми мужчины от них корытоваться должны; однако остерегайся сего ложного блистания. Не исчислил он цены настоящего блаженства жизни нашей, и потому все его правила суть ложны.

Тебя, мой друг, натура озарила разумом, здравием и быстрым понятием. Я уверен, что, когда ты присовокупишь к сему капиталу просвещений собственных в свете опыты, тогда увидишь ты, сколь должно убегать герцогов и искать, как возможно, жераков. Но что я говорю? Я уже то видел; ты забавлялся с восхищением герцоговой острою, но чувствительно плакал с Сидлеей и Жераком. Тут уже видны мне были склонности твоего сердца и силы души твоей; меня и привязали к тебе навеки.

Прости мне, друг мой, мои нравоучения. Прихожу я к таким летам, которым свойственны суть бредни. Но в том тебя уверяю, что чувства любви и дружества во мне еще в здоровом состоянии обретаются, с которыми, надеюсь, пребуду я и до смерти.

Твой верный друг.  
1777 год, Сибирь.

Семен Андреевич  
ПОРОШИН  
(1741—1769)

Родился и провел детство в Кунгуре, где отец его, Андрей Иванович Порошин, был начальником горных заводов на Урале. Учился в Петербургском кадетском корпусе. С 14 лет выступал в печати как переводчик, писал и оригинальные сочинения. Сотрудничал в журнале «Праздное время, в пользу употребленное». Писал и стихи. Некоторые из них современники считали «весьма изрядными» (Новиков).

С 1762 года находился в числе адъютантов Петра III и был учителем арифметики и геометрии 10-летнего сына Екатерины II, будущего императора Павла I. В это же время ведет дневник, куда записывает свои наблюдения за воспитанником и дает подробное описание придворного круга, передает содержание разговоров за столом ее высочества. О дневнике узнала императрица, нашла его опасным для своей репутации, и Порошин был удален от двора, назначен командиром пехотного полка Украинской дивизии П. А. Румянцева. Во время турецкого похода Порошин заболел и умер в возрасте 28 лет.

**ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА**

...Зашла речь о Сибири и о тамошнем климате, и я его высочеству доносил о некоторых тамошних подробностях. Великий князь, забавляясь, изволил сказать мне: «Ты Сибирь, как свой дом, знаешь»; потому что я из тех мест уроженец. Разговорились о вотчинах Александра Сергеевича Строганова в Перми. Он сам никогда не бывал там, да, видно, и слышал о них немного. Сказывал я ему, какие там места прекрасные и какие огромные села, особливо по реке Каме.

*Иван Иванович*  
**ВАРАКИН**  
(1759—1817)

Уроженец Соликамска, Варакин был крепостным, хотя и управлял вотчинами и соляными заводами. Испытывая тягостное самосознание раба, он всю жизнь боролся за свое освобождение, так и не увидев долгожданной свободы.

Свои стихи Варакин печатал в журналах И. А. Крылова «Зритель» и В. Г. Анастасевича «Улей». В 1807 году вышел сборник стихов Варакина «Пустынная лира забвенного сына природы» (Спб.: Типография Глазунова, 1807). Основными темами его стихов были темы рабства, обличения угнетателей и изображения будущей свободной жизни крестьян.

О себе и своей родословной он рассказывает в автобиографической записке, посланной В. Г. Анастасевичу.

**В. Г. Анастасевичу**<sup>1</sup>

2 февраля 1812 года

Ваше сиятельство, милостивый государь!

Удостоите принятием приложенные у сего стихи как жертву чистой благодарности, Вам принадлежащую от нескольких миллионов народа, ободренного среди тяжкого своего уныния книгою вашего издания. Простите при том, что забвенный и несчастный сочинитель сих стихов, будучи страдальцем под насильным игом рабства, не мог осмелиться ни предстать к вам лично, ни означить здесь и там (т. е. под стихами) своего имени, — и всенижайше просит пощадить его рвение, ибо убитое напастями сердце трепещет и в са-

---

<sup>1</sup> Это письмо и автобиографическая записка были приложены И. И. Варакиным к стихотворению «Об условиях помещиков с крестьянами», которое было напечатано в журнале «Улей» за 1812 год, т. 3.

мой невинности; единая благодать великого монарха может оживить его и извлечь из юдоли плача.

## АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА И. И. ВАРАКИНА

Сей Варакин — 52 лет, семейство его состоит в одной жене и одной пятилетней дочери. Он провел жизнь свою при делах многоразличных: доставлял большие соляные караваны по рекам Каме и Волге к запасным магазейнам в город Нижний в совершенной сохранности, занимался письмоводством и юриспруденциею, был уполномочен от многих знатных лиц в правительствующий Сенат; одобряется в знании законов и способностях и в добром поведении. Управлял вотчинами и заводами, железными и соляными, имеет аттестат от уездного начальника, что при соляных заводах, ему вверенных, в два года увеличил выварку соли до такой степени, до какой она и в целые два столетия не достигала, изыскал способы умножать ее ежегодно, устроил некоторые заведения, посредством коих облегчен народ при тягостных операциях солеварения, и во всем том свидетельствуется местным правительством, духовенством и практикою.

Между тем по природной склонности занимал себя историею и сочинениями, кои с дозволения цензуры и напечатаны.

О даровании ему свободы на остаток жизни многие господа упрашивали его князей — Александра и Сергея Михайловичей Голицыных, как-то: Державин, Уваров, покойный Тутолмин, губернатор Ланской, Новосильцев и прочие, но господа его непреклонны, хотя уж семь лет он странствует по плакатным пашпортам; некоторые из добродушных давали за него выкуп до 12 000 рублей, только бы, доставя ему сво-

боду, доставить и государству полезного гражданина; господа его и на то не согласились.

А что всего важнее, отец сего Варакина, управлявший более 50 лет обширным имением г. Голицыных в Пермской губернии, во время ужасного бунта Пугачева, когда весь край Сибири и Перми трепетал от лютости взбунтовавшихся татарских орд, чинивших набеги и разорения русским селениям, он первее других ободрял не только подвластный ему народ, но и прочих владельцев к единодушному ополчению и к восприятию оружия противу врагов отечества, в чем и успел совершенно; он мужественно и многократно сражался со злодеями, вооружа своих подвластных земледельцев, имел целодневные битвы и везде одерживал победу; освободил из обладания их два села — Беляевское и Крыловское, споспешествовал избавить от того ж город Осу, был везде сам лично с сельским своим воинством, — словом, он спас Пермскую область от разграбления, и его подвиги, подобные подвигам Минина и Пожарского, могут быть доказаны делами государственных архив, особенно по Пермской и Казанской губерниям. Сей старец жив еще и по днесь, имеет одного вышеупомянутого сына, и оба томятся под игом рабства; так погибают у нас в безвестности полезные сыны отечества!

Впрочем, род сих Варакиных никогда не был кабальным и крепостным, происходит из старинного города Колмогор, что в Архангельской губернии, из одного места с родом Ломоносова и того ж сословия. Где в 1705 году и дом их еще существовал.

Переселяясь оттуда в уезд Соликамский, на соляные заводы Строгановых, около 1720 года по способностям был приглашен в класс церковников. А около 1750 года малолетние сироты сего рода подверглись присвоению в крепостные Строгановых и записаны в

ревизию. По приданству ж за баронессой Анной Александровной, бывшей в замужестве за князем Голицыным, попали они во власть сих князей<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> В Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в фонде Голицыных хранится «Записка о происхождении рода Варакиных, из которых мест ведут они свое начало, в каком звании предки их находились и о незаконном присвоении потомков их в крепостное состояние». Записка эта составлена И. И. Варакиным. Основной ее тезис — утверждение незаконности перевода нескольких поколений семьи Варакиных в крепостные — звучит обличающе и смело, если учесть, что выдвинут он крепостным.

# Владимир Иванович ШТЕЙНГЕЛЬ (1783—1862)

В. И. Штейнгель — один из самых активных декабристов. Он принимал деятельное участие в подготовке восстания 14 декабря 1825 года, ежедневно присутствовал на совещаниях у Рылеева и написал проект «Манифеста к русскому народу».

Родился он в г. Обве<sup>1</sup> Пермского наместничества в семье капитана-исправника Иоганна Штейнгеля — выходца из небольшого немецкого княжества Аншпах-Байрейт в Баварии.

В Сибири В. И. Штейнгель написал воспоминания, обращенные к своим детям, в которых подробно рассказывает о своем раннем детстве, о судьбе отца, который еще в 1770 году поступил на русскую службу, участвовал в русско-турецкой войне 1768—1774 гг., а затем, оказавшись на небольших административных должностях, стал беззащитной жертвой царского произвола и преследований местной продажной администрации.

Уроженец Прикамья, В. И. Штейнгель бывал в Перми и в зрелые годы, где после смерти мужа жила его мать («купила домик, похожий на хижину, и в нем поселилась») и где в 1811 году некоторое время жил сам у матери, дожидаясь рождения ребенка («На пути в С.-Петербург беременность жены задержала в Перми, тут родилась дочь Юлия»). Через Пермь возвращался он из Сибири после амнистии в 1862 году.

## ИЗ «ЗАПИСОК» В. И. ШТЕЙНГЕЛЯ

...Между тем, живя в Петербурге, он познакомился с известным того времени поэтом Александром Петровичем Сумароковым<sup>2</sup>, который ввел его в дом к

<sup>1</sup> Теперь с. Обвинское Карагайского района Пермской области.

<sup>2</sup> А. П. Сумароков (1717—1777) — известный русский поэт, баснописец и драматург, представитель классицистического направления.

генерал-поручику Евгению Петровичу Кашкину<sup>3</sup>. Сей известный по своим качествам муж назначен был императрицею к открытию Пермской губернии. Узнав способности моего отца и его обстоятельства, он предложил ему ехать с ним, обещая, что он вознаградит все то, чего здесь тщетно стал бы доискиваться. Отец мой просил еще времени на размышление, как Кашкин доложил о нем уже государыне и испросил ее на определение моего отца в свою свиту соизволение. Однажды поутру, как отец мой вошел к Кашкину, сей встретил его сими словами: «Поздравляю, г. барон. Государыня мне вас подарила». Что оставалось делать, как не благодарить? При сем случае дан отцу моему чин поручика, и с ним он очутился под Уральским хребтом, вместо того, что отец его ожидал в Байрейте. Сие самое удаление вопреки отцовской воле навлекло на него не только гнев, но и самое проклятие отца; старик не хотел более о нем слышать, ниже признавать за своего сына. При смерти только своей он снял эту клятву с головы его; но опыт доказал, что это уже было поздно. Отец мой испил всю чашу зол за непослушание родителю своему и суетное последование гласу честолюбия. Разительный пример! Дети, обратите на него ваше внимание!

Вскоре по прибытии в Пермскую провинцию в 1781 году отец мой, находясь в Екатеринбурге у приема рекрут, ознакомился с тою, которая дала мне от него жизнь. Это было весьма щекотливое обстоятельство в жизни моего отца, и потому мне не удалось узнать подробно об оном. Итак, я расскажу, сколько знаю. Отцу моему была отведена квартира у купца Разумова. Не знаю и того, был ли он жив в то время;

<sup>3</sup> Е. П. К а ш к и н (1737—1796) — генерал-поручик, в 1780 году тобольский и пермский генерал-губернатор.

знаю только то, что отцу моему с первого взгляда понравилась хозяйская дочь, молодая, проворная, но скромная девушка, воспитанная в простоте естественной, свойственно времени и месту своего рождения и своему званию. Отец мой по пылкости своей, которая была ему врожденною и во многих случаях причиняла ему впоследствии зло, забыв сердечные связи, сделанные в Германии и потом в России с девицами благороднорожденными и воспитанными, до того влюбился в сию девицу, что, увидя при всех стараниях своих непреклонность ее к непозволенной с ним связи, решился иметь ее своею женою. При сем случае оказался другой искатель ее руки, с которым доходило у них до дуэли, и отец мой, по военной теории, сделал, наконец, похищение своей любезной и потом обвенчался с нею.

В том же году, получив совершенное увольнение от военной службы, он в чине поручика был определен, по открытии уже Пермского наместничества, в город Обву капитан-исправником, а потом ему же вверена была и должность городничего. Здесь первым плодом любви и брака его с девицею Варварою Марковною Разумовою были два близнеца, коим при крещении даны имена Стефана и Феодора. Они оба вскоре после священного обряда скончались. А потом в 1783 году, апреля 13-го дня, в великий четверг, в 4 часа утра, в том же городе Обве, родился я — отец ваш. Меня воспринимал от купели заочно 17-го числа коллежский советник Пермского губернского правления Владимир Андреевич Тунцельман, в честь которого и мне дано имя Владимир. По матери, согласно законам империи, я должен был принятым быть в лоно греко-российской церкви, несмотря на то, что отец мой был лютеранского закона. Спустя шесть недель по рождении моем провидение показало роди-

телям моим, что я рожден для жизни и к чему-либо предназначен особенному. Я лежал спеленатый на постели, а батюшка с упомянутым казначеем у близ стоящего стола занимались привинчиванием кремней к заряженным уже пистолетам. От неосторожного казначея последовал выстрел, и весь заряд дробью попал в стену выше меня не более как на два пальца. Можно представить себе страх отца и матери и потом радость и удивление их!

В Перми с открытия наместничества губернатором был Иван Варфоломеевич Ламб, известный потом в царствование императора Павла I вице-президент Военной коллегии. Он весьма любил отца моего и называл даже его другом, в чем свидетельствуют оставшиеся в бумагах отца моего собственноручные его письма, кои вы сами можете со временем увидеть. Сие милостивое и дружеское расположение губернатора было причиною, что отец мой решился из Обвы последовать за Ламбом, когда он назначен был к открытию Иркутского наместничества губернатором же. Сие случилось вскоре по моем рождении, и меня грудным младенцем привезли в Иркутск<sup>4</sup>.

...Матушка по смерти своего супруга имела неосторожность сжечь некоторые его бумаги, не знаю, по какой причине. В том числе истребила и вексель на

---

<sup>4</sup> По прибытии в Иркутск, как пишет В. И. Штейнгель, его отец назначен капитаном-исправником в Нижнекамчатск, куда и выехал со своей семьей в мае 1784 года. Но, столкнувшись там со злоупотреблениями местных властей, с вопиющей несправедливостью, не смог ужиться с ними и вынужден был в 1790 году самовольно выехать в Иркутск, за что был судим, лишен звания дворянина и посажен на гауптвахту. После смерти Екатерины II он был освобожден из-под стражи, но оставлен на жительство в Иркутске. Лишь после смерти Павла I ему были возвращены чины, дворянство и свобода выбора места жительства. По ходатайству барона А. Л. Николаи, его двоюродного брата по матери, президента Российской Академии наук, он получил пенсию 400 рублей в год, а в 1803 году был приглашен бароном на должность управляющего его имением Кулики в Тамбовской губернии, где вскоре и умер.

4 тыс. рублей, присланный ему бароном Николаи для получения по нем денег. Это обстоятельство расстроило ее с бароном. При всем том, однако, сей почтенный человек, из признательности покойному за хорошее управление и умножение доходов его, исходатайствовал матушке моей по смерти половинный пансион батюшки, предложил ей дом и услугу по смерти ее, равно как и принимал на свое попечение воспитание ее дочерей, но она не только от сего отказалась, но и Танюшку, к крайнему огорчению барона и его супруги, не согласилась у них оставить. Взяла ее и удалилась в Пермь, где купила домик, похожий на хижину, и в нем поселилась. Я слышал от нее, что сей совет дал ей граф Штейнгель, сказав о предложении барона Николаи: «Лучше щей горшок, да сам большой!»<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Судьба Штейнгеля-сына, судя по его воспоминаниям, сложилась следующим образом. После окончания Морского кадетского корпуса в 1799 году служил офицером на флоте, затем в 1802 году с воинской командой направлен к берегам Камчатки для усиления корвета «Слава России», предназначенного защищать восточное побережье. Служба на Камчатке и в Восточной Сибири длилась восемь лет. В Кяхте В. И. Штейнгель женился на дочери директора местной таможни и ушел со службы. Возвращаясь в Петербург, он некоторое время жил у матери в Перми, где родилась дочь Юлия. В Петербург Штейнгель вернулся перед самой войной 1812 года. В составе Петербургского ополчения он участвовал в Отечественной войне и заграничном походе. После войны некоторое время работал в канцелярии московского генерал-губернатора А. П. Тормасова и занимался восстановлением исторических памятников Кремля, но, оклеветанный в присвоении средств, вынужден был подать в отставку. В 1823 году Штейнгель познакомился с К. Ф. Рылеевым, вступил в Северное тайное общество и принял активное участие в подготовке восстания 14 декабря 1825 года.

*Михаил Михайлович*  
**СПЕРАНСКИЙ**  
(1772—1839)

Выходец из демократических низов (сын священника), русский государственный деятель, канцлер в правительстве Александра I, Сперанский был известен своими либеральными взглядами. Вершиной бурной либеральной деятельности и славы Сперанского были 1809—1811 годы. Влияние его на государственные дела возбудило зависть многочисленных противников. В борьбе против Сперанского объединились придворная знать и высшие круги дворянства, интересы которых затрагивались реформами государственного секретаря.

Отказ Александра I от либеральных преобразований привел к падению Сперанского. Он был обвинен в государственной измене и в марте 1812 года под охраной отправлен в Нижний Новгород под надзор полиции и тамошнего губернатора. Это была ссылка без суда и следствия.

С приближением к Москве наполеоновских войск Сперанский был переведен в Пермь.

Пермский губернатор Б. А. Гермес предписал городничему в любое время дня и ночи навещать квартиру ссыльного и обо всем докладывать губернатору. В квартире Сперанского постоянно дежурил полицейский.

В Перми Сперанский пробыл полных два года — с 27 сентября 1812 года до сентября 1814 года. По окончании Отечественной войны 1812 года ему было разрешено переехать в свое имение Великое Поле под Новгородом, где он оставался до августа 1816 года, когда с него было снято обвинение и он был назначен пензенским губернатором.

О жизни Сперанского в Перми рассказывается в его письмах и в воспоминаниях пермского купца И. Н. Попова, квартиру которого сначала снимал Сперанский.

## **ИЗ ПИСЕМ М. М. СПЕРАНСКОГО**

**Пермскому губернатору Б. А. Гермесу**

5 октября 1812 года

...При отъезде моем из Нижнего оставил я дочь мою больную. Не взирая на сие, она пустилась вслед за мною. В Казани болезнь ее усилилась. Вчера вечером я получил сию весть от моего брата с нарочным. Как отец семейства вы легко можете себе представить мое положение. Горесть сия довершает все прочие. Какую помощь отсюда могу я подать сему несчастному ребенку, коего по необходимости должен я везде влачить за собою.

Расстроен и духом, и телом, я не могу лично видеть ваше превосходительство; но счел нужным сим объяснить вам приезд сюда нарочного от моего брата. Завтра отправляется он обратно.

**Брату, К. М. Сперанскому**

7 октября 1812 года, г. Пермь

...Весьма благодарен, любезный друг мой Кузьма Михайлович, за присылку ко мне Василия. Он много меня успокоил и, сверх того, узнал и проложил дорогу нашим путешественникам. Не буду благодарить тебя, мой друг, за Лизу<sup>1</sup> и за все, о чем она ко мне пишет. Вы созданы любить друг друга, а любовь не знает благодарности...

Теплое время, которое здесь, кажется, установилось, весьма меня соблазняет желать, чтоб семья наша отправилась прежде зимы. Тут есть множество выгод, и главная та, что они не будут терпеть от сту-

---

<sup>1</sup> Дочь Сперанского.



жи, а грязь не мешает. Почтовые лошади по сей дороге прекрасные; проезжающих никого нет, и потому везут везде охотно и даже на перерыв. Если время не переменится, когда получите сие письмо, то прошу более их не держать и отпустить с миром. Провождать их тебе самому я не вижу надобности, и, мне кажется, они до Вятской губернии доберутся спокойно. Везде есть у почтовых смотрителей пристанища довольно удобные. По Вятской губернии вотяками трудно, но в два дня они их проедут, а в Пермской и дороги, и люди изрядные..

Обоз мой я полагаю разделить надвое, не считая

личного их отправления. В первом пойдут вина. Я полагаю, что лодка из Нижнего уже пришла. Сделайте так, чтоб сия часть отправлена была тотчас на колесах, с верными извозчиками, подрядя их, если можно, на срок, хотя с передачею цены. Деньги им будут здесь заплачены. Только не надобно им сказывать, что они **везут**, чтоб не выпили дорогою моего вина. Сим перевозом нужно ускорить потому, что зимою все перемерзнет, а осенью хотя и разобьется что-нибудь, но не так много. Вторая часть состоять будет из книг, посуды и прочего, что Елизавета Андреевна<sup>2</sup> признает возможным оставить. Сию часть прошу также отправить с верными извозчиками... по первому зимнему пути. При обоих сих отправлениях не ожидаю других писем от вас, кроме обыкновенных накладных, на коих ящики означены будут литерами или нумерами, не говоря о их содержании...

К сим просьбам прилагаю еще одну следующую: разменять для меня тысячу рублей серебром, которые вручит вам Елизавета Андреевна, и доставить ей за оные четыре тысячи рублей ассигнациями. Операция сия требует сноровки и искусства, что б не подать поводу к кривым толкам. Но деньги сии необходимо нам нужны на прожиток, а здесь достать никак невозможно. Не можно ли сделать сего через купца Резанова; он, кажется, мужик скромный, а всего бы лучше не мешать никого, что было бы и не трудно, если бы у вас были менялы. В последнем случае можно послать к ним людей моих Василья и повара, наказав им, чтобы не сказывали, чьи деньги и чьи люди. Во всем полагаюсь на лучшее твое благоразумие. Но это необходимо...

Прощай, мой любезный, душевно тебя обнимаю

---

<sup>2</sup> Теща Сперанского.

и божьему благословиению поручаю. С Лизой пиши ко мне обо всем сколь можно подробнее. И худые и добрые, и верные и неверные слухи здесь так редки, что все известия ваши будут для меня весьма интересны; а верных оказий предвижу, что будет мало...<sup>3</sup>

### Императору Александру I

10 октября 1812 года, г. Пермь

...Среди всех горестей моих я не мог себе представить, чтоб вашему величеству угодно было попустить подчиненным начальствам, под надзором коих я состою, притеснять меня по их произволу...

Уважая драгоценность вашего времени, я не дерзал жаловаться на сии притеснения из Нижнего. Прибыв в Пермь, я силился по возможности привыкать к ужасам сего пребывания. Между тем здешнее начальство признало за благо окружить меня не **неприметным надзором**, коего, вероятно, от него требовали, но **самым явным полицейским досмотром**, мало различным от содержания под караулом. Приставы и квартальные каждый почти час посещают дом, где я живу, и желали бы, я думаю, слышать мое дыхание, не знаю боле, что доносить. Если б я был один, я перенес бы и сии грубые досмотры; но среди семейства быть почти под караулом — невыносимо...

Тому дня три, как получил я от родного брата (казанского прокурора) с нарочным известие, что дочь

<sup>3</sup> Это письмо брату с просьбой разменять ассигнации на серебро было послано с нарочным Василием Варламовым, который зашил его в шапку. Пермский губернатор Гермес послал двух полицейских в Оханск, поручив им остановить Варламова и обыскать. Письмо, зашитое в шапку, стало источником неприятностей Сперанского. Губернатор отправил его министру полиции Балашову. Сперанский разменивал деньги на серебро и золото для получения бóльшей выгоды, так как он предвидел, что ценность ассигнаций резко упадет во время войны по сравнению с серебром и золотом.

моя больная приехала в Казань и что, однако же, она оправляется и по зимнему пути ко мне будет. Нарочный сей прислан был без всякой тайны, с открытою подорожною. Я тогда же дал знать губернатору и предлагал ему прочитать все полученные мною письма, уведомив его при том, что отправляю его обратно с письмами, кои также предлагал ему прочитать...

Два дня спустя здешний город наполнился слухом, что нарочный и письма мои перехвачены и что содержат они в себе дела самой великой важности.

Письма сии будут представлены вашему величеству. Между тем слух сей, присоединяясь к впечатлениям прежним, сделал из меня здесь самого явного изменника.

Умилосердитесь надо мною, всемилостивейший государь, не предайте меня на поругание всякого, кто захочет из положения моего сделать себе выслугу, пятная и уродуя меня по своему произволу.

Я не смел бы и теперь жаловаться, если б менее был уверен, что уничтожения сии не могут быть ни в видах, ни в желаниях ваших, что не может быть сродно известной мне благодати вашей, чтоб исполнители ожесточали судьбу мою выше той меры, которую сами вы постановили.

Никогда, среди самых жестоких напастей, не колебался я верить, что состою еще в точной и великодушной вашей защите.

**Министру полиции А. Д. Балашову**

10 октября 1812 года

...Несколько раз собирался я писать к вашему превосходительству, но, зная, сколь безмерно вы заняты и сколь безвременно было бы теперь занимать мне кого-либо собою, я отлагал сие желание.

Еще в Нижнем губернское начальство позволяло себе много раз переступить пределы благопристойного за мною надзора и тем часто подавало повод к слухам, которые и без сего возбуждения довольно для меня горестны.

Приехав в Пермь, я имел причину думать, что буду, по мере отдаления . . . покойнее. Но не так судил здешний губернатор. Он окружил меня не **неприметным надзором**, но **самым явным дозором**, и тем произвел в здешнем маленьком городке такой ко мне ужас, как бы я был действительный, осужденный и самого высшего рода преступник.

Как отец семейства, вообразите себе положение в моей семье, в последнем пристанище, где еще находил я доселе некоторое утешение.

Я не ропщу на губернатора и уверен, что он поступает сим образом не по злобе и не из выслуги, но единственно по неправильному понятию о свойстве моего сюда удаления. От вас, милостивый государь, зависит определить сие точнее. Но сие становится необходимее со временем, как дана столь явная огласка перехваченным моим письмам, коих содержание никому неизвестно, а образ их поимки столько поразителен... Сие простирается до того, что весть сию я узнал, стоя в церкви у обедни, от людей, кои разговаривали между собою. Божусь вам, что это правда.

Не мое дело судить, должен ли губернатор письма сии перехватывать, когда я писал их с точного его ведома, без всякой тайны, отправил почти при его глазах, и когда предлагал ему прочитать и то, что получил, и то, что писал. Как мог он после сего думать, что я буду так прост, что стану тут писать тайны, если бы они у меня были?

Я не скрыл от губернатора, что буду на сие жаловаться, если он сам сему не поможет. Я исполняю мое намерение, прося защиты письмом, при сем прилагаемым.

Все дело состоит в том, чтоб означить точнее в предписаниях правительства местному начальству, что есть способ иметь надзор, не давая сему вредной огласки и не возбуждая и не поощряя тем нелепых слухов, что против сих слухов губернское начальство обязано, мне кажется, меня защищать и что защита сия весьма проста и будет действительна, если оно будет собою подавать пример умеренности и приличия.

Я боюсь, что безмерно обременяю вас сим письмом, но примите с благосклонностью еще прежнюю мою просьбу.

По приезде сюда я принял смелость просительным письмом, доставленным через графа П. А. Толстого, который сюда меня отправил, утруждать все милостивейшего государя, чтоб сделано было мне здесь какое-либо денежное назначение или, по крайней мере, ассигновано было то, что причитается мне по прежней моей службе за прошедшее время. Хотя я совершенно полагаюсь на великодушие государя, но, по множеству и важности настоящих дел, просьба сия может быть без ходатайства забыта. Будьте, милостивый государь, мне сим ходатаем и обрадуйте меня знаком вашего внимания. Из письма моего к брату и к теще вы усмотрите, что мы принуждены уже расточать на ежедневный прожиток малое количество серебра, которое было собрано и столько времени бережено для моей дочери. Да и самый промен сего серебра на ассигнации не без трудности, ибо быв окружен и везде преследуем подозрениями, я должен делать самые простые и обыкновенные вещи с

крайними предосторожностями, чтоб не подать случая к кривым толкам.

Еще одна просьба. В письме моем к теще упоминается о ее сыне. Сын сей есть неизлечимо больной молодой человек, глухой и почти немой, оставленный матерью в Петербурге у адмиралтейского штаб-лекаря Берздорфа. Его называют Францис. Г-жа Стевенс посылала за ним два раза, чтоб перевезти его в Нижний, но ни о посланных, ни о нем с июня или июля нет никаких известий. Если он еще в Петербурге и если когда-нибудь о свободном его пропуске дойдет до вас просьба, то не оставьте благосклонною вашу помощь. Это есть совершенно дело человеколюбия.

Простите неизвинительную длину сего письма и дозвоьте мне хоть изредка беспокоить вас моими просьбами<sup>4</sup>.

\* \* \*

**Министру А. Д. Балашову**

**2 января 1813 года**

...Примите истинную благодарность за благосклонное внимание вашего превосходительства к моей просьбе. Оставлен всеми, заточен в самом несносном

---

<sup>4</sup> В ответном письме Балашов писал: «Милостивый государь мой Михайла Михайлович! Письмо вашего превосходительства и всеподданнейшее прошение я имел честь получить и повергнул высочайшему усмотрению. Государю императору угодно было определить на содержание ваше 6000 рублей в год, что для исполнения от меня уже и сообщено министру финансов. Касательно отобранного письма вашего от посланного, его величество изволил отозваться, что причиной сего был вид скрытности, тому отправлению данный, то есть, что письмо не было показано губернатору и было зашито в шапку, что изволил находить не соответствующим положению вашему, равно и открытость промена серебряных денег. Я к сему присовокупить должен, что, в точнейшее изыскание образа поступков губернатора, ему ныне подтверждено, дабы высочайшая воля вполне и не далее пределов, ею означенных, была исполняема».

жилище, я имел величайшую нужду в сем утешении. Бог воздаст вам за него, а я не в силах.

Довершите ваше одолжение, повергнув в удобное время всеподданнейшую благодарность мою государю императору. Всякий знак внимания к судьбе моей для меня всегда будет драгоценен.

Февраль 1813 года

...Здесьшний климат и разные нестерпимые неудобства жизни принудили меня решиться отпустить дочь мою в небольшую деревню в Новгородской губернии, ей принадлежащую<sup>5</sup>. На сих днях она отправляется туда со всем моим семейством<sup>6</sup>. Я покорнейше прошу вас, милостивый государь, письма их ко мне, на ваше имя доставляемые, приказать отправлять ко мне сколь можно без замедления.

Горькими опытами я знаю, что губернское начальство весьма часто считает себя не столько в праве, но даже в некоторой обязанности притеснять все то, что принадлежит к лицам, в моем положении находящимся. Весьма вероятно, что дочь моя и в деревне не избежит сей участи. Смею ли поручить ее в ваше особенное покровительство и просить дозволения, чтоб в случаях сего рода теща моя (г-жа Стевенс) к вам единственно прибегла?

**А. А. Столыпину**<sup>7</sup>

23 февраля 1813 года, г. Пермь

Тогда, как я считал себя оставленным от всего света, получить письмо от любезного моего друга

<sup>5</sup> Деревня Великое Поле, находящаяся в 6 верстах от Новгорода.

<sup>6</sup> Дочь, теща, сын ее Францис, брат К. М. Сперанский, уволенный от должности казанского прокурора.

<sup>7</sup> Аркадий Алексеевич Столыпин — обер-прокурор Сената, ближайший друг Сперанского, брат Е. А. Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова.

для меня самым великим утешением. Доброй и чувствительной душе вашей кажется весьма просто искать изгнанника у подошвы Уральских гор, за тридевять земель, судьбою занесенного. Да воздаст вам бог всем тем, что есть в чувствах дружбы священного и чистейшего.

Напишу вам целый журнал моих приключений.

Вскоре после отъезда вашего из Нижнего<sup>8</sup> мы переехали в дом Скуридина, устроились, учредились, зажили. Вокруг нас все крутилось, мы были спокойны. 15 сентября (день коронации), проводив вечер с моею семьею покойно и весело, в 10 часов я начал засыпать. Стучат у ворот в сенях, в передней, в моей комнате. Входит полицмейстер: «Пожалуйте к губернатору». — «Кто у него?» — «Граф Толстой»<sup>9</sup>. — «А! Меня отправляют», — думаю я. Одеваюсь, приезжаем. «Государю угодно, — говорит мне Толстой, — чтобы вы по настоящим обстоятельствам (по взятии т. е. Москвы) отсюда на время удалились». — «Куда?» — «В Пермь». Прощаемся, лобызаемся, уверяем друг друга в чувствах почтения и любви. Он уезжает, я остаюсь один с губернатором. «К вам есть предписание?» — «Нет ничего». — «Но к графу Толстому письмо или указ?» Указ именной во многих пунктах и между прочим и о вас. Заметьте, что в тот самый день после обедни граф Толстой, говоря со мною весьма приятельски, жаловался между прочим, что не получал он разрешения на многие свои представления. Я не люблю думать о людях хуже, нежели нужно, но здесь есть вероятность, что Толстой, увлеченный модным нынешним ласкательством так называе-

<sup>8</sup> А. А. Столыпин приезжал к Сперанскому в Нижний Новгород в апреле и мае 1812 года.

<sup>9</sup> Граф П. А. Толстой был в Нижнем Новгороде командующим 3-м округом военного ополчения и имел особые полномочия по гражданской части.

мой публике и желая угодить духу времени ...своими представлениями поместил и то, что не прилично мне оставаться там, где устанавливается средоточие больших воинских сил и пребывание Сената. В заключении сем, может быть, я и ошибаюсь<sup>10</sup>. Как бы то ни было, мне велено выезжать ночью. Возвращаюсь домой, пишу к государю, к вам и к Елизавете Андреевне; одеваюсь; в три часа все готово. Разбудить ли Лизу? Подкрадываюсь к ее постели — самый сладкий сон. Как осмелиться прервать! Бужу Елизавету Андреевну, но обе вдруг просыпаются. Объявляю им судьбу мою, предлагаю отправиться или в новгородскую деревню, или к вам — не соглашаются. Я сие предвидел и так уже и распорядился. Не описываю, мой друг, нашего прощанья. Залит слезами всех моих людей, бросаюсь в маленькую мою коляску, едем. За мною частный пристав провожатым. Начало уже рассветать. Вы помните эти прекрасные места, Панские Бугры, Подновье, архиерейскую рощу, где так часто с вами мы гуляли. Вид сих мест, мечты протекших дней, чувство, как жестоко судьба в другой раз вдруг от всего меня отторгает, мысль, куда я еду, Сибирская дорога, все сие так сжало мое сердце, что я не мог плакать.

Приезжаем в Казань; упрашиваю моего пристава дозволить мне свидеться с братом; насилу соглашается. Наконец, побежденный вином и сном, дозволяет мне у него даже и переночевать. Здесь распоряжаю я прием и отсылку моих путешественниц<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ссылка в Пермь последовала на основании донесений местных нижегородских властей по поводу замечания Сперанского на обеде у архиерея о том, что духовенству нечего бояться Наполеона. Александр I писал графу Толстому о Сперанском: «Отправить сего вредного человека под караулом в Пермь с предписанием губернатору от моего имени, иметь его под тесным присмотром и отвечать за все его шаги и поведение».

<sup>11</sup> В Нижнем находились дочь Сперанского, ее бабушка Елизавета Андреевна Стевенс и другая ее внучка, Злобина.

Между тем они, оставшись в Нижнем, собираются ехать. Все довольно были к ним ласковы...

Наконец я в Перми и у губернатора<sup>12</sup>. Отводят дом холодный, но предобрый молодой хозяин<sup>13</sup>: *vive les jeunes gens*<sup>14</sup>. Квартальные, приставы, вся полицейская сволочь являются поминутно, стерегут самое мое дыхание. Самый трусливейший, хотя не самый злейший из губернаторов. Нанимаю другой дом, переезжаю<sup>15</sup>; через несколько дней является ваш Василий с письмом от брата и от Е. Андреевны из Казани. Нужно было ему возвратиться. Быв нездоров, пишу к губернатору, чтобы дозволил ему обратный путь. Приезжает губернатор; объявляю ему, что, получив письмо от домашних, я хочу им отвечать; предлагаю даже прочитать те и другие письма — отрицается и дает подорожную. Через два дня мне сказывают, что Василий мой на второй станции схвачен, обыскан, отобраны у него письма, и он отпущен. Ударили в набат, что это переписка с Бонапартом. Являюсь к губернатору, предлагаю ему унять сии слухи, возвратить схваченные письма, или я буду жаловаться государю. По отзыву его пишу самую горькую жалобу к государю и письмо к министру полиции; все сие отправляется с тою же почтою, как и донесение губернатора.

Между тем приезжают и мои; кой-как, с великою нуждою, учреждаем и начинаем жить тесно, холодно, дымно, но вместе. Вскоре к нам присоединяется и брат мой, столь поздно и столь невинно отставленный. Ни одна душа христианская приступить к нам не смеет.

<sup>12</sup> Богдана Андреевича Гермеса.

<sup>13</sup> Молодой хозяин — купец Иван Николаевич Попов. Его двухэтажный дом стоял на углу улиц Монастырской и Обвинской. Дом сохранился (ныне по ул. Орджоникидзе, № 15).

<sup>14</sup> Да здравствуют молодые люди (фр.).

<sup>15</sup> На зиму Сперанский переехал в дом купца Ипанова — угол Торговой и Верхотурской улиц (ныне Советской и Островского). Дом сломан за ветхостью в 1837 году.

Живем, как на пустом острове, и знаем о свете только по газетам, которые достают люди украдкой.

Обоз, отправленный из Нижнего водою, замерзает в Каме, где же? В Оренбургской губернии, в снегах и лесах непроходимых. Вины, припасы, — все перемерзло; через четыре месяца, в самые трескучие морозы, с невероятными издержками едва наконец его отрыли и доставили.

В декабре брат собирается в Казань, чтоб учредить там дела свои и делать нужные для дому запасы. Губернатор объявляет, что ему, да и всему моему семейству, нельзя из Перми выехать, доколь не получит он на представления свои из Петербурга разрешения. Итак, вся моя семья, Лиза, m-me Stephens, брат, все мои и ваши люди<sup>16</sup> в ссылке и под арестом!

Из всех горестных моих приключений сие было самое горестное и, может быть, первое, которое до души меня тронуло. Видеть всю мою семью за меня в ссылке и где же! В Перми.

Надобно, чтоб я вам дал некоторое понятие о сем городе. Зима стала в сентябре. 32 градуса — мороз обыкновенный, а бывает и 38. Соленые огурцы — лакомство и редкость; судите о других овощах. С трудом можно достать картофелю; рыбу и говядину привозят из Сибири; все почти население составлено из ссыльных. Бем, сосланный за убийство по суду, есть здесь один из обывателей почетных.

К сему присоединилось зло, давно уже для меня небывалое. Переездами и безмерными, но необходимыми во всем передачами и убытками мы так издержались, что жить стало нечем; менять нет способу; писать в Петербург — два месяца, и некому писать. Стали занимать у своих людей; все заняли и съели;

---

<sup>16</sup> Служители из села Столыпина, принадлежавшего А. А. Столыпину.

принуждены пустить в заклад золотые табакерки и Лизины вещи...

Наконец, сверх чаяния, в конце декабря сам бог приносит Константина Злобина<sup>17</sup> проездом по делам его в Екатеринбург. Добрый молодой человек, несмотря на все страхи, останавливается, и мы в деньгах поправляемся и с ним учреждаем.

В январе получаю письмо от министра полиции, довольно учтливое, в котором объявляет мне, что государю угодно было определить мне жалованья 6 тыс. рублей (в письме моем я и о сем упоминал), что он сообщил о сем министру финансов для исполнения (сего исполнения, однако же, доселе нет, и я еще писал, хотя, впрочем, деньги мне и не нужны), что письма мои перехвачены были только потому, что отправленный человек имел вид скрытности.

С сего времени губернатор становится благосклоннее. Стороною узнаю, что, в особенности о семействе моем, еще предписано, чтоб ни в чем и никак его не стеснять. Свобода сия была для меня столько же драгоценна, как бы и моя собственная; я поспешил ею воспользоваться и уговорил всех тотчас же отсюда выехать. Начали собираться, собрались и 4-го сего месяца пустились. На первой станции карета и бричка стали: снега здесь преужасные; принуждены были их бросить, взяли простые повозки и отправились. Теперь, думаю, уже за Нижним или и дальше.

Но куда отправились и зачем? В Новгородскую деревню, затем, чтобы здесь не страдать понапрасну, не раздирать мне сердце, а там смотреть за маленьким нашим хозяйством, ездить иногда в Петербург, сидеть у моря тихова и ждать погоды теплая. Впрочем, вы не напрасно называете их героинями. Не го-

<sup>17</sup> Свояк Сперанского.

воря о Лизе, m-me Stephens есть женщина действительно бесценная в трудных обстоятельствах. C'est la femme forte de Salomon<sup>18</sup>. Два раза она уже была больна. Лиза тоже, все люди тоже, я один уцелел. Рекомендую вам моего брата, с коим здесь я короче познакомился и нашел в нем весьма много добра и рассудка.

Таким образом, я остался здесь один-одинехонек. И поверишь ли! Стал покойнее, хотя расставанья были жестокое; но знать, что все мои вне сей пропасти, есть уже великое утешение. Со мной остался Лаврушка и маленький ваш повар; кучера Ивана и фореятора на сих днях отпускаю.

Несколько дней тому назад приносят с почты письмо на мое имя от M-me Krehmer. Brave et excellente femme!<sup>19</sup> Бог наградит ее в детях, что и здесь меня не забыла.

Вы спросите, в чем же состоят мои надежды? Ни в чем, мой сердечный друг, а особливо теперь, когда государь в армии. Я полагаюсь, впрочем, на милость божию, терплю и поистине не ропщу. Верх моих желаний состоит токмо в том, чтоб дозволили мне остаток горьких дней моих провести в маленькой моей деревне. Всем врагам моим я и простил и прощаю. Они много сделали мне зла; но точно более по ложному расчету, нежели по злости, и я думаю, теперь и сами они уже каются, но поздно. Но когда же придет тот счастливый день, когда мы с тобою, мой любезный друг, увидимся! Бог знает; а может быть, и никогда — может быть, суждено мне здесь положить и кости, и холодная рука какой-нибудь старухи закроет здесь глаза мои. Тогда, мой друг, вспомни, не оставь мою бедную Лизу.

---

<sup>18</sup> Это добрая жена, о которой говорит Соломон (фр.).

<sup>19</sup> Славная, превосходная женщина (фр.).

Что касается до настоящего, ни в чем, друг мой, пособить вы мне не можете. Если б обстоятельства ваши дозволили вам быть в Петербурге в то время, когда государь туда возвратится, тогда могли бы вы весьма много советами своими руководствовать Елизавету Андреевну в ходатайстве ее о судьбе моей. Но когда и как сие может быть! Вам лучше знать, нежели мне здесь, в совершенной глуши.

Я не вижу, любезный друг, как могу я сноситься с вами, хотя бы то было и о самых малозначащих вещах. Через почту? Вы едва чрез шесть месяцев получите. Какое же утешение знать, что тому шесть месяцев я был жив. Оставим это на волю провидения. В марте или апреле Злобин отсюда возвратится. Я попрошу его, чтобы от себя он к вам написал две строчки обо мне.

Любезному и почтенному вашему батюшке от души и сердца прошу поклониться. Поклонитесь также и почтенному Николаю Семеновичу Мордвинову<sup>20</sup>. Разговор ваш с ним, в письме с кучером Иваном изображенный, для меня был драгоценен; сохраните как зеницу ока доброе его мнение. Мало есть людей с такими добродетелями и знаниями, как он.

Прощайте, мой любезный друг. Если б и весь свет мне изменил, вы бы одни в состоянии были помирить меня со всем родом человеческим.

Душевно вас обнимаю.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. Н. ПОПОВА<sup>21</sup>

...Не ранее как часу в 11-м или 12-м ночи подъехала коляска Сперанского в сопровождении нашего го-

<sup>20</sup> Тесть А. А. Столыпина, адмирал, пользовавшийся большим уважением в кругах декабристов.

<sup>21</sup> Пермский купец И в а н Н и к о л а е в и ч П о п о в, квартиру которого было предложено подготовить для Сперанского. Воспоминания написаны по просьбе барона М. А. Корфа, автора книги «Жизнь графа Сперанского», откуда и взяты эти воспоминания.





*Богородицкая церковь на улице Покровской  
(сейчас улица Ленина. В здании церкви —  
фарминститут)*

родничего и нижегородского частного пристава Козлова, который привез его в Пермь. Встретив моего гостя на крыльце, я предшествовал по лестнице в верхний этаж дома со свечою в руках. Он был в сером фраке с двумя звездами и, при встрече и на походе, держал себя неприступно; но войдя в комнаты, мгновенно сделался обворожительным, закидал мелочными расспросами о городе, его произведениях и пр. Откушав чай и сперва отказавшись, но потом тотчас же согласившись, чтоб на утро была приготовлена баня, он сказал: «Мы люди дорожные, нам бы нужны постельки». А оне-то и не были приготовлены, потому что все прежние проезжающие их не требовали. Впрочем, опочивальни для Михайла Михайловича и частного пристава минутно были сделаны.

На другой день, откушав кофе (чаю утром не употреблял), отправился Михайло Михайлович в баню; куда он был, помутился город любопытством: кто приходил, как бы его увидеть, другой узнать, в чем он приехал, иной — есть ли с ним человек, что он привез с собой и т. п. Любопытство это было более от главных лиц в городе, для соображения, как им вести себя и обращаться, а мать моя была приглашена к губернаторше и получила от нее совет и наставление убегать разговоров с Михайлом Михайловичем, и то же самое намекнуто было и мне, через безмолвного с ним городничего.

По выходе из бани прохаживался Михайло Михайлович по комнате целый час; другой час писал; потом обедал с Козловым; приглашал и меня, но я совестился сидеть с ним за одним столом, да и должен был сам распорядиться угощением, что продолжалось и в последующие дни пребывания его в доме нашем, хотя финансовое положение мое тогда было в самом плачевном состоянии.

По выходе из-за стола вручил он Козлову заготовленные письма, отсчитал из бумажника столько-то денег и отдал их ему, сказав: «И более благодарил бы я вас, но видите, как мало остается у меня денег». Заметно было, что он все их показал, как будто частный пристав ожидал чего-то более. Последний отправился в Нижний часу в 5-м пополудни.

Простившись с ним, Михайло Михайлович опять стал ходить по комнате. Мне пришло на мысль спросить, не угодно ли ему книг. И в то самое время, как я входил с своим реестром, он встретил меня вопросом: нельзя ли ему где-нибудь отыскать книг? Можно сказать, что он обрадовался моему реестру, как самому дорогому подарку, и тотчас же отметил до двадцати номеров из сочинений Вильдана, фон Визина и других известных авторов, которые я через несколько минут и доставил. Тут он задержал меня у себя, отменно обласкав; подчивал вином и сам его пил; предложил свою приязнь и был очень откровенен и разговорчив до позднего вечера.

В третье утро, по желанию его, я представил ему мою мать, сестру и трехлетнего племянника; всех их он обласкал до восторгу. Потом попросил меня купить ему шляпу, но, выбрав после из домашних, в 1-м часу отправился гулять, а возвратясь, сказал: «Вот я с половиной вашего города познакомился, но едва ли более буду у вас прохаживаться; в Нижнем я много прогуливался, верст по тридцати делал верхом». Однако же на другой день он опять продолжал свою прогулку. Скоро я узнал, что в первую школьники, вышедшие из гимназии и встретясь с ним у гостиного двора, преследовали его и не только кричали «изменник», но и бросали в него землю. После, когда переменились отношения и все в Перми его полюбили (об этом будет ниже), сам он, шутя, рассказывал:

«Я любил ходить по такой-то улице, и, когда ни проходил мимо такого-то дома, дворня всякий раз в щели ворот встречала и провожала меня словом «изменник». Наконец, родилась мысль: да что же за неволя ходить мне именно по этой улице, и я переменял ее на другую».

Все остальные дни сентября Михайло Михайлович делал свои визиты главным властям в городе; но едва ли кто его принял: по крайней мере, ни от кого не было взаимности.

В исходе того месяца благоугодно ему было прискивать, вместе со мною, другую квартиру. При этом намерении он говорил мне со слезами на глазах: «Крайне мне прискорбно с вами расставаться, но комнаты холодны, дует с Камы в окна; на улице я герой; какая бы ни была стужа, а в комнате я от холоду с ума сойду; да дом ваш мал для моей семьи, которую жду». Самому мне очень горько было выпустить из дому своего такого знаменитого и ко мне столь милостивого человека; но делать было нечего. Три дня прискивали мы квартиру. Ему очень нравился на краю города, бывший тогда деревянный, большой одноэтажный дом Черкасова с прекрасным садом; но нанять не мог: запросили 6 000 руб., цену неслыханную в Перми, и все деньги за год вперед! Напоследок нашли другой поместительный дом наследников купца Ипанова. Перешел в этот дом Михайло Михайлович, помнится мне, в половине октября.

В 1-е число этого месяца, в праздник покровы богородицы, пригласил он меня с собой в Богородскую церковь<sup>22</sup>, в которой служил наш архирей Иустин и где вся была наша знать и горожане. Отправились в

---

<sup>22</sup> Богородская церковь находилась на Покровской улице (сейчас улица Ленина. В здании церкви — фарминститут).

больших дрожках. Лишь только стал он в церкви к самому дьяконскому амвону, в церкви забыли моление, зашептались повсеместно, сделался гул как бы базарный; заходили вперед и заглядывали в лицо до неблагопристойности; сам архипастырь расстроился и, по внутреннему ли убеждению, или в угождение публике, бросил грозные, наказующие взоры. Но Михайло Михайлович во все продолжение обедни стоял неподвижно, ни на минуту не изменился в лице, не пошевелился, ни на что, по-видимому, не обращал внимания. Дождавшись выхода архиерейского, он один поехал вслед за ним и не только вошел к нему, но и остался у него обедать. Преосвященный так испугался этого нежданного и незваного посещения, что на другое утро с объяснением своим ездил не только к губернатору, берг-инспектору, вице-губернатору, но, кажется, и к прокурору.

«Сперанский, — заявлял он всем, — насильно ко мне приехал и насильно остался у меня обедать».

Еще до выезда из нашего дома Михайло Михайлович расположился сделать вторые визиты. Мне это было больно, и, очень уж тогда с ним сблизясь, я осмелился заметить: «Как же вы это изволите ехать, когда никто не отдал вам первого посещения?» «Они здесь хозяева», — отвечал он. Но и на вторые его визиты отзыва не было. Таким образом, до перемены обращения с ним в Перми<sup>23</sup> я один имел счастье быть его посетителем и очень часто собеседником.

---

<sup>23</sup> Такая перемена произошла после получения ответа от министра полиции Балашова. На вопрос «Как разуместь личные права состоящего под надзором Сперанского?» Балашов ответил: «Разуместь сосланного государственного секретаря как тайного советника».

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е. М. ФРОЛОВОЙ-БАГРЕЕВОЙ <sup>24</sup>

...Не было уже для него ни теплого солнца нижегородского, ни тамошних довольства и гостеприимства, не было лелеявшей невдалеке от столицы надежды, что удаление есть, может статься, только временное с близким концом; не было, наконец, ни преданных, подобно Столыпину, друзей, ни тех великодушных сердец, которые в Нижнем, вопреки Петербургу и его интригам, не страшились воздавать дань почтения низверженному великому человеку. В Перми, напротив, была уже прямая ссылка, в полном смысле слова; был север с леденящими его холодами и мертвой природой; была далекая провинциальная глушь, без дворянства и без богатств, следственно, без провинциального хлебосольства. На место их явились робкий и бедный губернатор, который поневоле должен был дорожить своим местом как единственным средством к содержанию большой семьи; полудикие чиновники, из которых прежде едва слышали не только о значении и величии, но даже о самом существовании батюшки; убийственное равнодушие, или, еще хуже, явное озлобление, потому что в глазах пермских жителей сосланный на рубеж Сибири тайный советник мог быть только важный государственный злодей.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. И. БАРАНОВА <sup>25</sup>

Михайло Михайлович принял нас очень просто <sup>26</sup>, помню, он сидел за письменным столом, одетый в

<sup>24</sup> Дочь Сперанского, вышедшая замуж за А. А. Фролова-Багреева (1783—1845), черниговского губернатора, потом сенатора.

<sup>25</sup> Семен Иванович Баранов, ставший впоследствии губернским прокурором.

<sup>26</sup> С. И. Баранов вспоминает случай, когда после ответа министра полиции Балашова о личных правах Сперанского отношение к нему губернских властей резко изменилось. Из квартиры

шлафрок<sup>27</sup>. На поздравление наше тайный советник ответил, едва поднявшись со стула, легким наклоном головы. Тут только поняли мы наши грехи против него! Чувство стыда смешалось в нас с чувством страха. Визит, естественно, был непродолжительным. Откланявшись, мы уехали по домам и после долго не заводили в своем кругу речи про настоящий урок. Впоследствии Михайло Михайлович ни словом, ни делом не высказал никому своего неудовольствия; напротив, весьма любезно принимал участие в общественных собраниях, даже сам как бы давнишний пермяк.

---

Сперанского были убраны дежурившие там жандармы. Сам губернатор, чтобы загладить вину, дождавшись высокаторжественного праздника, облекся в мундир и со свитой старших чиновников поехал на поклон к Сперанскому.

<sup>27</sup> Домашний халат.

*Александр Иванович*  
**ГЕРЦЕН**  
(1812—1870)

За распространение революционных идей в России А. И. Герцен в 1835 году был арестован и выслан сначала в Пермь, затем переведен в Вятку (г. Киров). В Перми жил с 28 апреля по 13 мая 1835 года. Место проживания в Перми не установлено.

Ниже приводятся письма к Наталье Александровне Захарьиной (1817—1852), двоюродной сестре Герцена, ставшей впоследствии его женой, отрывки из письма к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, а также из «Былого и дум», в которых рассказывается о пермском периоде жизни А. И. Герцена.

**ИЗ ПИСЕМ К Н. А. ЗАХАРЬИНОЙ**

Март 1835 года

Итак, сестрица, все кончено, надо ехать... И да здравствует ссылка и ссыльные! Еще неизвестна судьба Огарева. Во всяком случае, мы увидимся. Посылаю тебе своих волос.

2 апреля 1835 года

По клочкам изодрано мое сердце; не знаю, во все время тюрьмы я не был до того задавлен, стеснен, как теперь. Не ссылка этому причиною. Что мне Пермь или Москва? И Москва—Пермь. Но слушай все до конца.

31 марта потребовали нас слушать сентенцию. Торжественный день! Кто не испытал этого, тот никогда не поймет. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все они



провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти люди под ножом, в большой зале, когда я взошел, и Соколовский, главный преступник, с усами и бородою, бросился мне на шею, а тут Сатин; уже долго после меня привезли Огарева; все высыпали встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе, я ожил, я был юноша, я жал всем руку, я любил всех их, я мечтал. Словом, это — одна из счастливейших минут жизни, ни одной мрачной мысли. Чего было мне бояться на ту минуту? Наконец, нам прочли приговор: сначала смертную казнь, потом каторгу по законам, и объявили, что го-

сударь милует и приказывает только разослать по городам (Соколовский — в крепость): Огарев в Пензу, Сатин в Симбирск, а я в Пермь. И надежда свободы от тюрьмы светилась, и с сей надеждой я воротился в казармы. Все было хорошо, но вчерашний день, да будет он проклят, сломал меня до последней жилы. Я тебе расскажу. Со мною содержится Оболенский<sup>1</sup>. Когда нам прочли сентенцию, я спросил дозволения мерзавец, офицер Соколов, донес полковнику об этом как о противозаконном поступке, и я таким образом замешал трех лучших офицеров, которые мне делали бог знает сколько одолжений; все они имели выговор, и все наказаны и теперь должны, не сменяясь, дежурить три недели (а тут святая). Васильева<sup>3</sup> моего высекли розгами, — а все через меня! Я грыз себе пальцы, я плакал, бесился, рвался, и первая у Цынского<sup>2</sup> нам видеться; мне позволили. Возвратившись, я отправился к нему. Между тем об этом дозволении забыли сказать полковнику. На другой день мысль, пришедшая мне в голову, было мнение. Я опозорил этого Соколова, я рассказал про него вещи, которые могут погубить его, — и вспомнил, что он бедный человек и отец 7 детей... Но должно ли щадить фискала? Разве он щадил других? Черт с ним! Мне надобно, чтоб я был отмщен. Это происшествие тем сильнее огорчило меня, что я еще весь был мягок и полон от вчерашнего свидания; вдруг весь чистый, поэтический восторг превратился в какую-то злость, и я доселе готов, ей-богу, готов зубами грызть всякого. К этому прибавок. Кто, кто смеет нас теперь держать? Нам прочли сентенцию и не берут туда выпустить.

---

<sup>1</sup> Иван Афанасьевич Оболенский, соученик Герцена по Московскому университету; был привлечен по тому же делу, что и Герцен.

<sup>2</sup> Московский обер-полицмейстер.

<sup>3</sup> Приставленный к камере Герцена жандармский унтер-офицер.

О, звери, звери, дикие звери, а не люди! «Люди — порождение крокодилов, ваши слезы — вода, ваше сердце — железо», — как говорит Шиллер. Ты не можешь себе вообразить, как эта ничтожность тяжела. Что же мы? Игрушки.

Как высок и необъятно высок Огарев, — этого сказать нельзя; перед этим человеком добровольно склонил бы я голову, ежели б он не был нераздельною частью меня. Этот человек вполне принадлежит идее и общей деятельности; что для него жизнь, богатство... Помнишь, что я писал тебе в прошлый раз: наша жизнь решена, жребий брошен, буря увлекла, куда! не знаю. Но знаю, что там будет хорошо, там отдых и награда. Человечество! для него все, для него рождаются люди, ему обязаны мы; но что же мы можем? Малое, но и малое есть нечто. «Послушайте, братья, не нищих ли мира сего бог избрал быть богатыми верою» (пословица Иакова). Да и кто были апостолы? Нет, наша будущность в наших руках. Да будем мы забыты и презренны, ежели скороним в землю те малые таланты, которые дал нам бог!

Прощай, Наташа, скоро, скоро увидимся, скоро, скоро расстанемся надолго. Ежели меня еще дней пять продержат, я наделаю черт знает что. Я умел терпеть, но теперь уж они превосходят меру. Прощай, посылаю тебе братский поцелуй.

**Александр.**

10 апреля 1835 года

За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе; к тебе будет последний звук отъезжающего. Вчерашнее посещение растаяло мое каменное направление, в котором я хотел ехать. Нет, я не камень, мне было нынче грустно ночью, очень грустно. Natalie,

Natalie, я много теряю в Москве, — что у меня только есть. О, тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной. Но такова судьба, которой я отдался; она влечет меня, и я покоряюсь. Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы; изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру.

Итак, участь голубя тебя не пугает; голубь — что-то небесное, от него навевает не землю. Именно чистота твоей души вчера так сильно на меня действовала.

Может быть... но окончить нельзя, за мною пришли. Итак, прощай, прощай надолго, но, ей-богу, не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармах...

16 апреля 1835 года  
Нижний Новгород

Наташа! Вот и тебе несколько слов от изгнанника. Всякая минута отталкивает меня далее и далее от всех вас. Ничего нет у меня в Перми, а туда еду; всё в Москве, а она меня выбросила. Прощай, некогда писать, иду смотреть царь-реку — Волгу. Прощай.

Эм. Мих.<sup>4</sup> поклон.

Твой Ал. Герцен.

29 апреля 1835 года

Теперь, chere Natalie, твой черед писать ко мне. Я наконец в Перми...

Это ужасно, что было со мною нынче утром; прихожу нанимать квартиру, а хозяйка спрашивает: «Нужен ли вам огород и стойло для коровы?» Боже мой, неужели есть возможность мне иметь огород и корову? Ха, ха, ха, да это чудо! Огород и корову, — я ско-

---

<sup>4</sup> Эмилия Михайловна Аксберг, гувернантка Н. А. Захарьиной.

рее заживо в гроб лягу. Вот как мелочная частность начинает виться около меня! А что, в самом деле, бросить все эти высокие мечты, которые не стоят гроша, завести здесь дом, купить корову, продавать лишнее молоко, жениться по расчету и умереть с плюмажем на шляпе, — право, недурно, «исчезнуть, как дым в воздухе, как пена на воде» (Данте).

Приехавши на место, я только узнал все, что потерял, расставаясь с Москвою. Нет, сколько ни мудри, а разлука — дело ужасное; это — замерзшее озеро: и немо, и холодно. Как живо у меня в памяти твое посещение в Крутицах, и что же это было? Несколько часов в целой громаде времени — и прежде, и после. Да, у нас в жизни только есть несколько минут и светлых, и изящных, остальные — что-то земное и грязное. Это фонари, освещающие дорогу; далеко позади блещут они звездочкой. Когда же, сестра, когда же мы увидимся?

Ах, люди, люди, люди злые,  
Вы их разрознили...<sup>5</sup>

Да, вы меня разрознили со всеми. Прощай. Пиши.

**Александр.**

6 июня 1835 г.  
Вятка

Письмецо твое, Natalie, я получил; это первый голос московских друзей, ибо я, кроме писем из дому, ниоткуда не получал. Грусть навело оно на меня. Какое немое и больное чувство разлуки! Я готов был плакать, все перевернулось в моем сердце. Нет, страшны письма, когда разлука так грозна и так произвольна!

Что тебе сказать о себе? Перемены? Перемена в

<sup>5</sup> Позднейшая приписка Герцена: «Не посмел написать «сердца»!

душе, собственно, не бывает у людей, у которых есть душа. Но я не тот же. Ты не знаешь, что такое быть изгнанником в чужбине, где (по словам Гете) часто протянешь руку и вместо человеческой руки сдавишь кусок дерева. Были минуты сладкие, — горесть имеет свою поэзию, — минуты полноты душевной, минуты, в которые даже надобно было, хоть несколько, излить все, в ней клубящееся. Но все-таки какая-то пустота в сердце, и это меня мучает. Вообрази себе, что я мало занимаюсь; иногда часы целые после обеда лежу в *dolce far niente*<sup>6</sup>, двадцать раз привожу себе я в память минуты счастья в Москве и с какою-то на-смешкой сравниваю тогда и теперь. Природа одна могла бы мне заменить друзей, но и' она здесь так скупа и свирепа, что доселе я мало пользуюсь ей. Но не думай, что я сделался томным, печальным с виду; нет, я все с тою же наружностью, все так же остро, заставляю хохотать и смеюсь, но вдруг среди этого смеха... Душно, Наташа, душно!

Вера, она меня не оставила, что же я был бы без нее? Вера твердая, но разве он не верил, когда, изнемогая от людей, он, сын божий, просил: да мимо идет его чаша сия?

Теперь я в Вятке. Пермь меня ужаснула, это — преддверие Сибири, там мрачно и угрюмо. Здесь лучше и ближе; теперь я не 1 400, а только 1 000 верст от Москвы. Говоря о Перми, я вспомнил следующий случай на дороге: где-то проезжая в Пермской губернии, ночь я почти не спал, ибо дорога была дурна, на рассвете я уснул крепким сном; вдруг множество голосов и сильные звуки железа меня разбудили. Проснувшись, увидел я толпы скованных на телегах и пешком отправляющихся в Сибирь. Эти ужас-

---

<sup>6</sup> Сладком безделье (итал.).

ные лица, этот ужасный звук и резкое освещение рас-света и холодный утренний ветер, — все это наполнило таким холодом и ужасом мою душу, что я с трепетом отвернулся; вот эти-то минуты остаются в памяти на всю жизнь.

Да, ты правду пишешь, что в последнее свидание ты, забыв говорить, высказала все... Да, Наташа, я все понял, и на что были слова? Может, не все сказала бы ты; может, они ослабили бы то, что мы понимали той высшей симпатией, той гармонией душ, которая так сблизила наши существования<sup>7</sup>.

«Ты смотришь на Пермь и иногда забудешь, что в уголке Москвы живет Наташа...» О, это-то и лучшие минуты, когда я забываю все! Побольше этих минут забвения, в них я только и отдыхаю; это сон души, не упрекай меня за них. Прощай! Еще напишу несколько слов, но не теперь.

12 июня

Нет, больше ни слова.

Ал. Герцен

• • •

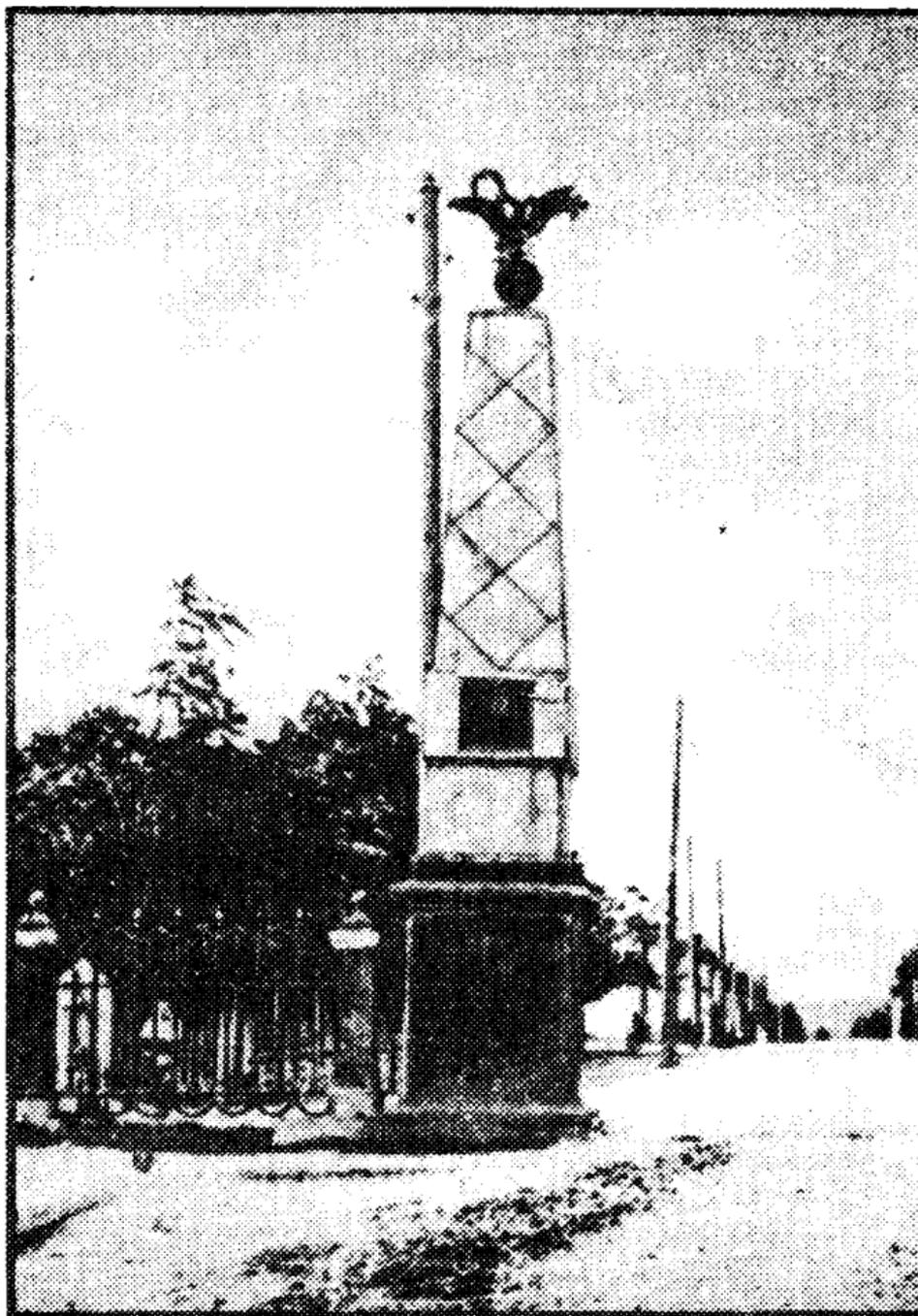
Из письма Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру<sup>8</sup>18 июля 1835 года  
Вятка

...Вера только и осталась у меня, нет, я не сомневаюсь: это испытание, не более; но тяжело оно, и очень, главное — нет друга; где вы все? Вы для меня

<sup>7</sup> Позднейшая приписка Герцена: «И после этого я мог так низко пасть, так забиться! Вот куда привели эти лучшие минуты забвения!»

<sup>8</sup> Сазонов Николай Иванович (1815—1862) — участник студенческого кружка Герцена, публицист.

Кетчер Николай Христофорович (1806—1886) — врач и переводчик, друг юности Герцена, участник его кружка.





*Застава на окраине Перми*

не существуете, я будто вас видел когда-то во сне, а существенность — канцелярия, отсутствие деятельности умственной и, хуже всего, отсутствие поэзии. Иногда воскресают во мне чувства, и все разом кипят. Вспомню одну минуту, я тонул при слитии Волги и Казанки, все было в ужасе, все трепетало<sup>9</sup>; но я тут в первый раз после Москвы обрадовался, призвал свою веру и через несколько часов с гордостью смотрел с казанского кремля на бурный поток, которому не было дано право погубить меня. Пермь — город ужасный, просцениум Сибири, холодный, как минералы его рудников; но мне было жаль его покинуть: я там видел в последний раз человека несчастного, убитого обстоятельствами, но живого душою, сильного и возвышенного. Когда-нибудь, где-нибудь, вспоминая эту черную полосу жизни, вспомним и его<sup>10</sup>.

...Пермь есть присутственное место + несколько домов + несколько семейств; но это не город губернии, не центр, не *sensorium commune*<sup>11</sup> целой губернии, решительное отсутствие всякой жизни. Но там есть уже *avant-propos*<sup>12</sup> Сибири, а что такое Сибирь, — вот этой-то страны вы совсем не знаете. Я вдыхал в себя ледяной воздух Уральского хребта; его дыхание холодно, но свежо и здорово.

...Сосланных везде много, нет уездного города в Пермской губернии и в Вятской, где бы не было несколько поляков и часть грузинов и русских. Быть под надзором не есть худое состояние; но и отнюдь не веселое. Оно похоже на состояние жены у ревнивого мужа: «Сюда, сударыня, не смотрите, сюда не ходите;

---

<sup>9</sup> Герцен вспоминает, как, переезжая Волгу в Казани во время весеннего разлива, паром получил пробоину от ударившего в борт бревна и все чуть не утонули (Былое и думы. — Ч. 2, гл. 13).

<sup>10</sup> Имеется в виду Петр Цеханович, участник польского освободительного движения в 1830-х гг.

<sup>11</sup> Средоточие чувств (лат.).

<sup>12</sup> Преддверие (фр.).

на кого вы вчера, сударыня, смотрели, с кем танцевали?» и т. д.

Но что же далее? Когда-нибудь кончится Вятка, кончится **под надзором!** *Valá la question*<sup>13</sup>. Опять *semper idem* — можно ли служить, ежели можно, то должно, ежели нет, то уложить чемодан и *viaggiare*<sup>14</sup>, а не пустят, тогда что делать? Разумеется, остаться — но литература, ох, литература, ах, литература!

### ОТРЫВКИ ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»<sup>15</sup>

...В Перми меня привезли прямо к губернатору<sup>16</sup>. У него был большой съезд: в этот день венчали его дочь с каким-то офицером. Он требовал, чтоб я взошел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти к нему, говоря, что он тогда сыщет мне занятие в канцелярии.

Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние; как крот, где-то под землю, незаметно, он прибавлял зерно к зерну и отложил-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятного контроля и порядка он приказал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в десять часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и листом, проверял, все ли налицо, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким обра-

<sup>13</sup> Вот в чем вопрос (фр.).

<sup>14</sup> Путешествовать (итал.).

<sup>15</sup> Ч. 2, гл. 13.

<sup>16</sup> Губернатором в Перми в эти годы был Гавриил Корнеевич Селастенник.

зом, я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтоб я не был знаком.

На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле.

На воле... в маленьком городе, на сибирской границе; без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить.

Из детской я перешел в аудиторию, из аудитории — в дружеский кружок: теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма, чтоб дать всему осесться. Практическое соприкосновение с жизнью начиналось тут — возле Уральского хребта.

Она тотчас заявила себя; на другой день после приезда я пошел с сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру; он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему ни толковал, что я ищу дом очень маленький и, еще лучше, часть дома, он упорно требовал, чтоб я взошел.

Хозяйка усадила меня на диван; узнав, что я из Москвы, спросила — видел ли я в Москве г. Кабрита<sup>17</sup>. Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слышал.

— Что ты это, — заметила старушка, — Кабрит-то? — и она назвала его по имени и по отчеству. — Помилуй, батюшка, он у нас вист-то губернатором.

— Да я девять месяцев в тюрьме сидел, может, потому и не слышал, — сказал я, улыбаясь.

— Пожалуй, что и так. Так ты, батюшка, домик нанимаешь?

— Велик, больно велик, я служивому-то говорил.

— Лишнее добро за плечами не висит.

— Оно так, но за лишнее добро вы попросите и денег побольше.

---

<sup>17</sup> Кабрит Андрей Федорович — пермский вице-губернатор.

— Ах, отец родной, да кто же это тебе о моих ценах говорил, я и не молвила еще.

— Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом.

— Даешь-то сколько?

Чтоб отделаться от нее, я сказал, что больше трехсот пятидесяти рублей (ассигнациями) не дам.

— Ну, и на том спасибо; вели-ка, голубчик мой, чемоданчики-то перенести да выпей tenerифу рюмочку.

Цена ее мне показалась баснословно дешевой, я взял дом, и, когда совсем собирался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить: а что, коровку свою станешь держать?

— Нет, помилуйте, — отвечал я, до оскорбления пораженный ее вопросом.

— Ну, так я буду тебе сливочек приносить.

Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку.

Но я еще не успел обглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку, потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были родственники<sup>18</sup>. Губернатор хотел, чтоб я ехал на другой же день. Это было невозможно; думая остаться несколько времени в Перми, я закупил всякой всячины, надобно было продать хоть за полцены. После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое су-

<sup>18</sup> Имеется в виду Иван Афанасьевич Оболенский (1805—1849), товарищ Герцена по Московскому университету, сосланный в Вятку по тому же делу, что и Герцен. Отец И. А. Оболенского возбудил ходатайство о переводе его сына в Пермь, где служил председателем уголовной палаты их родственник. Ходатайство было удовлетворено, и оба ссыльных поменялись местами ссылки.

ток, взяв слово, что я не буду искать случая увидеться с другими сосланными.

...Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне.

На одном из губернаторских смотров меня пригласил к себе один ксендз. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря маленькую трубку, тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок, лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который удивляет сначала и привязывает потом; такие черты были у величайшего из поляков — у Фаддея Костюшки. Одежда Цехановича свидетельствовала о страшной бедности.

Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая; молодой лист развертывался, березы цвели (помнится, вся аллея была березовая) — и нигде никого. Провинциалы наши не любят платонических гуляний. Долго бродя, я увидел наконец по другую сторону бульвара, т. е. на поле, какого-то человека, гербаризировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел к нему.

Впоследствии я много видел мучеников польского дела; четьи-минеи польской борьбы чрезвычайно богаты, — Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался расвирепелый деспот Зимнего дворца, жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше следствие.

...Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комна-

та, в которой он жил, была почти совсем пуста; небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель, — на меня пахло моей крутицкой кельей.

Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбувшись, сказал мне:

— Вот за то-то я и люблю природу: ее никак не отнимешь, где бы человек ни был.

Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее.

— К моей рубашке она не идет, — сказал он мне, — но запонку вашу я сохраню до конца жизни и наряжусь в нее на своих похоронах.

Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом, оторвав от нее несколько звеньев, подал мне со словами:

— Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени; все я вам не дам, а возьмите эти кольца. Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику.

Я обнял его и простился.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Завтра утром, но я вас не зову: у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм.

— Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня.

На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около

коляски. Все было готово; я нечаянно взглянул на улицу — идет мимо Цеханович. Я бросился к окну.

— Ну, слава богу, — сказал он, — я вот четвертый раз прохожу, чтоб проститься с вами хоть издали, но вы все не видали.

Глазами, полными слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми.

Василий Андреевич  
ЖУКОВСКИЙ  
(1783—1852)

Весной 1837 года император Николай I отправлял в путешествие по России своего 19-летнего сына, будущего царя Александра II. Царь так сформулировал цель этой поездки: «Путешествие имеет двоякую цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим своим подданным».

Сопровождать наследника должны были его учителя-наставники и адъютанты. Среди них был известный русский поэт В. А. Жуковский.

Маршрут путешествия проходил через Прикамье и Урал.

Все участники поездки вели свой журнал. Вел его и Жуковский. Как отметил близкий друг В. А. Жуковского П. А. Вяземский, его дневник — это «заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге пополнить и развить».

Мы знакомим читателя с частью его дневника, относящегося к Прикамью, а также с письмом полковника С. А. Юрьевича, одного из свиты наследника, которое как бы дополняет дневник Жуковского и помогает лучше понять некоторые его записи.

## ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ЖУКОВСКОГО

1837

20 мая

Переезд из Вятки в Глазов. Прощание с Вьельгорским<sup>1</sup>. Живописец. Вид Вятки. Хлопоты великого князя. Слободской... Завтрак у священника. Вотяки. Переправы: две через Вятку; одна через Чепцу. Глазов, ноги Урала. В Глазове у вотяка. Комната в одном доме

---

<sup>1</sup> Один из адъютантов великого князя, исполнявший обязанности курьера.

с великим князем. Спал на тюфяке. Бедная церковь на площади, окруженная деревянными домишками. Колония вотяков.

21 мая

Из Глазова — на Ижевский завод. Завтрак на станции. Виды гор. Покрыты камнями и елями. Везде горизонт ограничен видами леса. Дым. Снег. Маленькие долины, как ребра, между ними ели, как цветы. Быстрые лошади. Прекрасная дорога. Пустынность. Чепуха. Почта.

22 мая

Ижевский завод, Воткинский завод. Нератов, генерал<sup>2</sup>; полковник Грен. Запруженная Ижь. Твердость плотины. Отвоз ружей до Камы... Железные обрезки. Вытягивание, загибание, сваривание, сверление. Шустение, обтачивание, полировка. Прицелы. Брак. Лекала. Проба штыков. Разрыв от худых ружей. Место худой сварки... Укладка ружей...

Переезд из Ижевского завода на Воткинский: кричное производство, пудлингованье, стальное, якорное, плющильное, оковка лафетов. Ночевал у англичанина. Вечер писал письма.

23 мая

Переезд из Воткинского завода в Пермь.

24 мая

Пермь. Поутру осмотр выставки. В гимназии. Баранов<sup>3</sup>. Швецов<sup>4</sup>. Князь Максутов. Антропов — директор

---

<sup>2</sup> Управляющий Ижевским заводом.

<sup>3</sup> Вероятно, губернский прокурор С. И. Баранов.

<sup>4</sup> Швецов Фотий Ильич — нижнетагильский инженер, получивший образование во Франции и Германии, прибывший в Пермь для встречи с В. А. Жуковским. За границей Швецов встречался с братьями Тургеневыми, друзьями Жуковского.



гимназии. Вице-губернатор Андрей Федорович Кабрит. Бывший губернатор Гаврило Корнеевич Селастенник. Хозяйка Розен... После осмотра выставки у архирея. Разговор о раскольниках. Миссии. Камышловский миссионер Оглоблин. После обеда у меня Швецов. Катание по Каме. Визит к вице-губернатору и к губернатору. Писал после бани письма.

25 мая

Переезд из Перми в Бисерск. Виды по дороге Урала. Ночевали в Бисерске на почтовой станции.

26 мая

Переезд из Бисерска в Екатеринбург...

### ДОРОЖНЫЕ ПИСЬМА С. А. ЮРЬЕВИЧА <sup>5</sup>

24 мая

Вчера в одиннадцатом часу мы прибыли благополучно в Пермь, иллюминированную площадками; а сегодня увидели, что это бедный город — хуже всех виденных нами губернских городов и хуже очень многих великороссийских уездных: несколько каменных домов на высоком левом берегу широкой Камы, да и те оставлены почти в развалинах; эти дома делают, однако ж, некоторый эффект, смотря на город с середины реки, по которой мы катались в лодке. Это единственное увеселение, доставленное нам в Перми. Но зато погода после холодных трех дней вчера и сегодня приятная, теплая, такая, что пермяки не запомнят таких дней в их мае месяце; говорят, что это для великого князя.

Мы опереживаем на нашем пути природу и здесь находим весну почти в том виде, как оставили ее в Петербурге: деревья только что распускаются, и во вчерашний переезд по горам видели в ущельях еще много снега. Вчерашний переезд был нам очень приятен: переступив границы Вятской губернии, мы снова везде видим русские избы, русские лица, русские наряды, почти такие (и то, и другое, и третье), как в Пулкове и Кузьмине. На Сибирском тракте, на который мы выехали вчера, народы опять встречают нас по-русски: это коренной русский народ. Пермяки, говорят, живут далеко на севере от большой дороги, —

---

<sup>5</sup> С. А. Юрьевич — полковник, флигель-адъютант. С 1826 года учил наследника сначала польскому языку, потом преподавал ему начала морской науки.

мы их не увидим. В Перми, как и в Вятке, нет дворянства, да и знатного капитального купечества очень мало. В губернии хотя находится до 250 тыс. душ помещичьих (разделенных между 16-ю владельцами), но эти баричи живут или за границей, или в столицах. Строгановы, Голицыны, Бутёра суть главнейшие помещики-заводчики. Сегодня мы провели день, как обыкновенно, до обеда в осмотре богоугодных и училищных заведений; первые здесь отличны, а вторые жалки, кроме школы для детей канцелярских чиновников. Были на выставке, богатой одними только натуральными произведениями минералов и вообще изделий металлических; можно пройти целый курс минералогии, но купить было нечего, даже на память пребывания в Перми. Говорят, что в Екатеринбурге мы найдем для себя богатое собрание изделий здешних заводов, единственных в России. В Перми, как и в Вятке, нас завалили прошениями: здесь также многие живут по неволе; в особенности после польского мятежа сюда прислали много негодяев поляков, которые все просят великого князя о возвращении на родину. Здесь, сверх того, царство раскольников, коих ныне стараются обращать в единоверие, но, кажется, с сомнительным пока успехом, ибо много просьб от раскольников, чтобы избавили их от миссионеров православных. О здешнем обществе говорить нечего: тут живут одни чиновники, которых мы видели только при представлении, а их жен и дочек, в шляпках и чепцах, мельком, при выходах и при выездах; мало милостивых лиц: две-три фигурки на весь город. Здешние купчихи носят на головах разноцветные платки с бантиками в виде рожков. Вот отличие пермских жителей. Довольно о Перми, больше и говорить о ней нечего...

Николай Филиппович

ПАВЛОВ

(1804—1864)

Прозаик, поэт, критик, издатель и общественный деятель 30—50-х годов прошлого века, Н. Ф. Павлов пользовался широкой популярностью у читателей. Его «Три повести» (М., 1835) высоко оценили Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен, Чернышевский.

Женившись на поэтессе Каролине Яниш, получившей к тому времени богатое наследство, Павлов стал жить на широкую ногу. Его дом превратился в литературный салон, где охотно бывали Герцен, Вяземский, братья Баратынские, Лермонтов, Чаадаев и др. Бывал в нем и Пушкин.

Беспорядочная жизнь Павлова привела к расстройству наследственного имения жены и всей семейной жизни. Доведенная до отчаяния, Каролина Павлова подает жалобу московскому генерал-губернатору графу Закревскому, обвиняя мужа в разорении ее имения карточной игрой. Закревский распорядился произвести обыск у Павлова, чтобы найти крапленые карты и публично обвинить его в шулерстве. Крапленых карт не нашли, зато обнаружили запрещенные книги и статьи Герцена. Павлов был сослан в ссылку в Пермь, где он живет с апреля до конца 1853 года.

В своих письмах из Перми он жалуется на несправедливость обвинения и говорит о тяжелых переживаниях, вызванных вынужденным проживанием вдали от друзей.

#### ПИСЬМА Н. Ф. ПАВЛОВА

К С. П. ШЕВЫРЕВУ, А. С. ХОМЯКОВУ и Н. М. САТИНУ

С. П. Шевыреву<sup>1</sup>

24 апреля

Я только вчера приехал; труден и горек был мой путь. Светлохристово воскресенье встретил я увязший

<sup>1</sup> Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — критик, историк литературы, поэт, академик.



в грязи, окруженный чувашами, которые не знали, кто Христос.

Но к чему рассказывать, мой сын,  
Чего пересказать нет силы.

В Перми я не нашел письма ни от кого, даже от сына, и вот второй день хожу, как шальной, то на почту, то с почты. Бог дал мне любящее сердце, и это составляло до сих пор мне счастье. Теперь эта способность любить есть причина таких душевных страданий, что я даже о них понятия не имел. Я оторван от всего, к чему привык, что люблю, и даже целый месяц не имею ни о ком известия. Страшно сказать,

что я чувствую. Удивляюсь, как здоровье переносит все.

Пиши мне ради бога. Поклонись Софье Борисовне и уведошь о ее здоровье. В Москве холера; что делается со всеми с вами, с кем я проводил всю жизнь? Не ослабевай в твоём участии и действуй, сколько можно. Здесь прилагаю я официальное письмо. Если мои, или лучше ничьи, ибо у них к человеку нет никакого сочувствия, дадут за вещи, кроме книг, две или даже полторы тысячи серебром, то возьми. Бог с ними, пусть обсчитывают меня. Мне надо запастись деньгами. Если мое изгнание продолжится, то кости мои лягут в Пермской земле, ибо того, что я чувствую, нельзя выносить долго. Будь здоров.

**Н. Павлов**

P. S. Ради бога, справься по каталогу Смирдина, что есть напечатано о Пермской губернии, возьми у Базунова на мой счет и вышли с первой почтой. Писать ко мне можно легко. Что мой сын?

Милостивый государь Степан Петрович!

Я представил через господина подполковника Бакунина его сиятельству московскому военному генерал-губернатору список некоторых вещей из принадлежащих мне, оставшихся в доме тестя моего, статского советника Яниша. Покорнейше прошу вас эти вещи продать и вырученные деньги переслать ко мне, по жительству моему, в город Пермь.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.

**Н. Павлов**

24 апреля 1853 года

\* \* \*

9 мая 1853 года

Любезный друг Степан Петрович, я к тебе уже писал, но от тебя нет еще ни строки. Помни, что мне одно занятие здесь: московские письма.

Со мной обходятся чрезвычайно хорошо. Губернатор — славный старик<sup>2</sup>. Я у него очень часто обедаю. Встретил здесь давнишнего знакомого, Вердеревского<sup>3</sup>, который, впрочем, уехал. Он давал мне обед, на котором племянник его пел мой романс и сказывал, как они в лицее прятали под подушки мои повести. Но мне грустно, глубоко грустно: так сильно, так сильно оскорблена душа. Живу на постоялом дворе, за неимением гостиниц, в одной комнате и не чувствую нисколько ни малейшего неудобства, хотя все уговаривают нанять квартиру. Написал два листа «Слепого», но не могу продолжать. Мысль, где я и что со мной делается, беспрестанно вертится в голове. Читать также не могу, потому что начинают сильно болеть глаза, а здесь нет даже глазного доктора. Может быть, за мои нетяжкие прегрешения придется быть нищим и ослепнуть. На такую ли я будущность имел право? Если бы голос мой мог только дойти до государя, он, верно бы, оказал милосердие, ибо он милостив, ибо он хотел наказать меня, а не погубить вместе с сыном. Наказан я уже довольно. Прилагаю здесь стихи: они вылились из души; я их послал к Хомякову, но он уже не в деревне ли? Если так, то перешли к нему. Здесь письма в Москву лежат по неделе, дожидаясь сибирской, которая опаздывает за реками. Неужели графу Закревскому не стало еще меня жаль и неужели он до сих пор не удостоверился, каким людям дал веру? Пишу с этой почтой и Ве-

<sup>2</sup> Тайный советник Илья Иванович Огарев.

<sup>3</sup> Вердеревский Василий Евграфович был председателем Пермской казенной палаты.

невитинову, но уже ни на что и на кого не надеюсь. Одно только мне полезно в моем деле: я лучше узнал себя и получил к себе больше уважения. Сына моего везут в Дерпт, к немцам; каково моему сердцу?

Поблагодари Погодина за «Москвитянина», которого я вчера получил. Правда ли, что Николай Александрович<sup>4</sup> должен приехать? Удивительно, какой я стал Сердечкин: мне ничего не надо, кроме людей, которых я люблю и к которым привык. Истинно так. Только это одно лишение и чувствую. Благодарю бога из глубины души, что он одарил меня способностью любить: он заставляет меня много страдать, да все эти страдания как-то возвышают человека в его собственных глазах.

Пиши мне на мое имя просто в Пермь: письмо дойдет без всяких затруднений. Здесь люди добрые и на меня смотрят нежестобо; затруднительно мне, что делают тьму приглашений, хотя общество самое маленькое. Что мои вещи? Что прыганье столов?<sup>5</sup> Что твои занятия? Какие для меня надежды? Как здоровье Софьи Борисовны? Не забывай меня: я тебя очень люблю.

**Н. Павлов**

Не даст ли мне кто совета, что делать, чтобы выйти из моего положения?

\* \* \*

18 июня 1853 года

Любезный друг Степан Петрович, что это значит? До сих пор я от тебя не получил ни одной строки, а писал к тебе несколько писем, твердо полагая, что

---

<sup>4</sup> Мельгунов Н. А. (1804—1867) — писатель, музыкальный критик и публицист.

<sup>5</sup> В это время Москва занималась гаданием (верчением столов), против чего восстал митрополит Филарет.

тебе хочется знать, что со мной делается. Ко мне все писали и многие пишут, один ты ни слова. Это мне очень грустно, грустнее, чем ты воображаешь. Не могу только понять причины. Даже Веневитинов из Петербурга писал. Я сначала даже испугался, думал, что или ты, или Софья Борисовна, кто-нибудь из вас нездоров, но читал твои стихи на обеде Щепкина<sup>6</sup> и на этот счет успокоился. Со мной здесь поступают очень хорошо, но мне-то здесь очень дурно, потому что болят глаза и нет доктора, потому что нервы в большом раздражении и потому что сын мой, его будущность, а также и моя тревожат сильно. Да что об этом говорить? Когда-то кончатся мои страдания? Ты, я думаю, слышал, что тесть мой умер холерой в Петербурге. Странная судьба постигла его: накануне похорон теща моя, которая так любила мужа, и дочь его испуганная, уехали в Дерпт, а прах его отдан был на произвол трактирного слуги, который заехал с ним не в ту церковь и только в 12 часов ночи, через генерала Рерберга<sup>7</sup>, родственника моей жены, поместил его в церковь; на другой день явились туда родные, ждали вдовы и дочери, но не дождались. Эта смерть производит некоторую перемену в моих обстоятельствах, почему я и писал к графу Закревскому, но не знаю, какая будет судьба моего письма. Будь здоров, скажи мое искреннее почтение Софье Борисовне. Буду ли же я иметь ответ от тебя?

Н. Павлов

<sup>6</sup> Стихи были произнесены С. П. Шевыревым на прощальном обеде Щепкину, описание которого напечатано в «Москвитянине» в 1853 году, № 10. Вот начало этих стихов:

Московской сцены честь и слава  
 Комедий русских красота!  
 Сердечный смех — твоя держава,  
 Игра — природы простота.

<sup>7</sup> Федор Иванович Рерберг — инженер, генерал-лейтенант.

\* \* \*

23 июля 1853 года

Вчера я получил твое письмо, любезный друг Степан Петрович, и очень обрадовался ему, а как обрадовался, ты не можешь понять, ибо для такого понимания ни воображение, ни ученость недостаточны. Надо быть на моем месте, чтобы уяснить себе мое чувство. Твое долгое молчание было причиною для меня разных мыслей. Между прочим, я уже думал, не боишься ли ты писать ко мне. Мне кажется, не имели да и не имеем ничего предосудительно сказать друг другу; потом, ко мне пишут все и отовсюду. Недоставало тебя, и это было мне горько, непостижимо. Благодарю, друг, за то, что вспоминаешь обо мне утром и вечером; благодарю Софью Борисовну за ее теплое участие. Очень, очень рад, что вы все здоровы.

30 июля

Я был нездоров, да и теперь не поправился. Здесь холера, и я чувствую расстройство желудка, только в противном роде, чем эта болезнь. Впрочем, во мне начинает обнаруживаться важный недуг. Нельзя таким страданиям пройти даром, и пульс начал биться неправильно: иногда после четырех, иногда после десяти, а иногда после одного или двух биений бывает промежуток. Здешние доктора говорят, что это от нервного раздражения. Нервы в адском состоянии, это правда; только правда ли, что они причиною явления?

О какой службе, друг, ты говоришь? Право на нее у меня не отнято, ибо я не исключен, а уволен, и как скоро получу прощение, так тотчас и могу войти в службу. Неужели служить в Перми? Да ведь это значит принять здесь оседлость; и какие это даст средства

для жизни, не понимаю. Писцом в губернское правление, без жалования! Помилуй, Степан Петрович! Неужели трудно понять, что мне нужно? Нужно мне найти дорогу к милосердию. Поэтому прошу тебя и прошу всех не сердиться на то, что я скажу. Ради бога, не подавайте мне никаких советов: я в них решительно не имею надобности. Моя нужда состоит в помощи, в помощи проложить дорогу к милосердию. Кто может, пусть пособит деятельным участием; кто не может, делать нечего. Графа Закревского я просить ни о чем не могу, а просить о том, чтоб жена определила мне содержание, никого не буду: я потребую от нее, чтоб она взяла свое, а мое отдала мне, и она это сделает, когда я буду свободен. Впрочем, это второстепенный вопрос; главное то, что я разлучен с сыном и что я не могу существовать без людей, которых люблю. Здесь я узнал себя вполне. Бог дал мне любящее сердце. Оно доставило мне много радостей в жизни, зато теперь много и мучений.

Илья Иванович <sup>8</sup> помнит и твоего батюшку, и дядю, и вас всех. Тебе кланяется. Он так внимателен ко мне, что часто бывает у меня и сердится, когда я не обедаю у него. Он писал уже давно обо мне графу Закревскому, который отвечал, что со всем желанием сделать ему угодное и быть мне полезным не может ходатайствовать по недавнему времени. Письмо писано было еще в июне. Я страдаю уже почти восемь месяцев, не ропщу на свою судьбу, но тяжело, очень тяжело. Сын совершенно одинок, в делах путаница, процесс я проиграю. Не понимаю, что будет. Кошелев <sup>9</sup> в письме своем спрашивал у меня, есть ли евангелие, а то пришлет. Не только евангелие, но и вся

<sup>8</sup> Губернатор Огарев.

<sup>9</sup> Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — общественный и государственный деятель, редактор журнала «Русская беседа».

библия со мной; но вопрос показался мне странным. Что бы сказал он, если б я в то время, как был в отчаянном положении, когда, прохоридв насквозь ночь, подошел к зеркалу посмотреть, не поседел ли, когда не знал, ему ли принадлежит рубашка на его теле, — что, если б утром я предложил ему вопрос: есть ли у него псалтырь? Как великие, святые истины, не глубоко прочувствованные и не ясно понятые, ведут иногда к смешным и жестоким вопросам! Я его просил не заботиться о моей душе:

«Hab selber Seele genug». <sup>10</sup>

Адресуй мне просто в Пермь, как все ко мне пишут. Говори мне о своем семействе. Это мне покажет, что ты помнишь и любишь, а это мне очень нужно. Ты не можешь себе представить, как я был огорчен твоим молчанием. Уж не Иван ли Михайлович <sup>11</sup> сказал тебе, что ко мне писать нельзя? Если бы граф Закревский захотел меня спасти, он легко бы мог это сделать; а не мешало бы снять грех со своей души. Я на него нисколько ни сетую: он был увлечен обстоятельствами; но пора бы с ясностью спокойствия взглянуть на мое дело. Наказание мое, право, сравнялось с моей виной, а если бы дошло только до государя, то он так милостив, что, верно бы, помиловал меня.

Я живу только перепиской, т. е. получаю письма и пишу их. Собрал кое-какие сведения для двух статей, да нездоровье и расстройство духа мешают писать. С чего ты взял, друг, думать, что для литературных занятий надо позволение? Такое же, как и всем. А если и попросить его, так оно не воспретится. Если бы я написал статью, я бы точно так же мог ее отправить в цензуру или в Петербург, как и всякий

---

<sup>10</sup> Достаточно иметь душу (нем.).

<sup>11</sup> Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — профессор Московского университета, цензор.

другой. Это все московские мысли. Богуславскому говорили о вещах не кредиторы, а кредитор. Пожалуйста, не беспокойся о деньгах для Ницман. Если не умру здесь, то заплачу, только бы исходатайствовать прошение. Пожалуйста, ради бога, пиши, только не говори о службе в Перми. Поцелуй ручку у Софьи Борисовны. Я служить очень рад, желаю и тотчас по возвращении отсюда буду ее искать.

**Н. Павлов**

Правда ли, что Погодин в чужих краях? Здесь был проездом Карамзин<sup>12</sup>, остался один день и тотчас отыскал меня. На счет общего внимания, участия и уважения я доволен добрыми людьми.

P. S: Перед глазами у меня летают черные мухи — и это от нервов.

\* \* \*

6 августа

Наконец, любезный друг, здоровье мое не устояло. Биение пульса, как я уже тебе писал, сделалось перемежающееся: одного биенья постоянно недостает после нескольких. Это делается не однообразно, но делается уже более десяти дней, по крайней мере замечено это явление не прежде. Доктора хотели пустить мне кровь, но я не согласился, и вот почему: они приписывают остановки пульса душевному расстройству, которое я сам чувствую и знаю, что все произошло от него, а кровопускание должно ослабить нервы. К тому же язык у меня скверный, и, несмотря на то, что здесь холера, я должен был принять слабительное, оно помогло на день, а теперь опять то же.

<sup>12</sup> Владимир Николаевич Карамзин был женат на баронессе Александре Ильиничне Дука.

Мне paraît c'est le commencement de la fin<sup>13</sup>. Мне бы очень хотелось видеть сына, а как сделать, не знаю, ибо ведь ничему не поверят, а если и поверят, то кому нужна моя жизнь? Наверное, раздражение так сильно, что я жду почты с каким-то судорожным нетерпением и, получив письма, боюсь их распечатывать. Ведь это все я обсуживаю, вижу, до какой степени гадко и слабо. Доктора все советуют мне успокоиться, не зная, что я уже восемь месяцев беспокоюсь и, следовательно, сделал привычку к этому состоянию.

Ипполит, Ипполит<sup>14</sup>, видеть бы хоть его! Вспомните ли вы меня? Ведь я тебя очень люблю, Степан Петрович, ты, может быть, и сам не знаешь этого. Впрочем, авось еще и не умру, а немного попозже. Прости, друг, будь здоров. Поклонись Софье Борисовне. Я думаю, в Москве никого нет.

**Н. Павлов**

Впрочем, доктора не настаивают на кровопусканье. Один дал мне эту мысль.

• • •

27 августа

Я сейчас получил твое письмо. Оно меня очень обрадовало не буквою, а духом. Хороший ты человек, Степан Петрович, и я горжусь тем, что, может быть, знаю это лучше всех. Очень меня огорчило нездоровье Софьи Борисовны, но надеюсь, что она теперь совершенно поправилась. Понимаю твой испуг. Но каков вчера был здесь испуг мужа, страстно и нежно

---

<sup>13</sup> Мне кажется, что это начало конца (фр.).

<sup>14</sup> Сын Н. Ф. Павлова и К. К. Яниш.

любящего свою жену. Здесь есть некто Костливцев<sup>15</sup>, управляющий палатою государственных имуществ, славный человек. У него жена выкинула... Вчера доктора, т. е. коновалы, приписали ей сильную примочку на подложечку, и муж вместо микстуры дал ей две ложки этой примочки. Она тотчас почувствовала, что лекарство не то. Надо было видеть его, как он выскочил из ее спальни: что твой Гамлет, преследуемый тенью отца! Доктора, бывшие тут, остолбенели. К счастью, в ту же минуту поднялась рвота у больной и едва ли не вся примочка была извергнута натурой. Я этих людей очень люблю, у них мне приют. Слава богу, сегодня Костливцевой гораздо лучше. Уж не ошибка ли помогла?

Позволь узнать, с чего ты взял, что я сам считаю свой пульс? Его щупают и щупали доктора, но не я. Мне хотели, как я писал к тебе, пустить кровь; я не согласился, но наконец принужден был поставить пиявки. От пиявок пульс сделался не так медлен, не так угнетен, но все перемежается, т. е. после двух, четырех, десяти, иногда после двадцати, пятидесяти и даже ста биений — число не бывает однообразно — одного биения нет. Доктора приписывают это нервам, но так ли? Впрочем, мне слушали сердце и грудь, поврежденья не нашли. Однако, что ни говори, это явление важно и на него должно обратить внимание, но здесь делать нечего и болезнь разовьется без помощи. Я не понимаю, любезный друг, о какой ты твердости говоришь; что ты от меня хочешь? Чтоб я, читая каждую почту письма моего сына, которые раздирают мою душу, не тревожился? Чтоб я думал спокойно о том, что по милости моего пребывания здесь и по

<sup>15</sup> Сергей Александрович Костливцев (1815—1887) до приезда в Пермь был вице-губернатором в Вятке. Под его началом служил М. Е. Салтыков-Щедрин.

милости безумия моих близких я и он можем быть нищими? Я пишу и должникам, они молчат, а один кредитор прислал уже на меня сюда заемное письмо ко взысканию; мне скоро нечем будет здесь жить. Я представился государю императору не в моем настоящем виде и заслужил его гнев, я привык к деятельности, а здесь лишен ее, ибо ни читать, ни писать не могу, потому что болят глаза и лечить их некому; наконец, здесь нет никого и ничего, что нужно для моего сердца и моей мысли. Неужели же после этого можно быть покойным? Это была бы не твердость, было бы равнодушие, холодность, а я по милости божьей сохранил еще молодость души, которая умеет и радоваться, и страдать. Твердость, которую должно иметь, я имею, и в слабости не упрекну себя. Вы всегда находили меня изнеженным, привыкшим к роскоши и таким человеком, которому трудно и невозможно отстать от привычек, а вышло напротив. Материальных лишений я вовсе не чувствую, не потому, что боролся с ними, нисколько, а потому, что, видно, они не составляли части меня самого. Пожалуйста, друг, отбрось мысль о моей службе в Перми. Ты, видно, расположен долго не видеть меня, а я крепко надеюсь на милосердие государя. Здесь все власти принимают во мне участие, ибо успели узнать меня. То, что ты советуешь, никто не советует. Я этого не сделаю решительно.

На днях будет в Москву генерал Влахопуло<sup>16</sup>, начальник здешнего округа. Он меня видел. Человек больной, и я ему назвал доктора Варвинского<sup>17</sup>, который, надеюсь, познакомит меня с ним поближе.

---

<sup>16</sup> Генерал-лейтенант Константин Изотович Влахопуло.

<sup>17</sup> Иосиф Васильевич Варвинский был профессором госпитальной терапевтической клиники в Московском университете.

Влахопуло добр и внимателен. Я тебе послал письмо с племянником Прянишникова, Кудрявцевым. Пожалуйста, поговори непременно с Хевроньей Ивановной Сушковой, о чем тебя прошу убедительно, и не замедли. Поклонись Брусилову от всей души: как бы мне хотелось его видеть! Жаль мне Гааза<sup>18</sup>, я его очень уважал. Ты мне не пишешь, велико ли было стечение народа на его похоронах. Это любопытно. Вдова племянника Мерзлякова здесь, но ничего не знает. Известно, что он учился в Пермском народном училище и написал оду, о которой ты говоришь; но собрать сведения, предания... да от кого? Здесь нет ни памяти, ни любопытства. И то, что я пишу, сказано мне его дядею, советником палаты казенной, который вместе с тем объявил, что более ничего не знает. Статьи мои были бы хороши, да, право, болят глаза. С трудом пишу. Вся нервная система расстроена. Переписка утомляет зрение, ибо я получаю и отправляю письма каждую почту. Вот почему я надеюсь на прощенье: много было примеров милосердия государя. Один Селиванов находился в Вятке, он едва ли не более меня был виноват, а через шесть месяцев был прощен.

Надо только, чтобы дело дошло до государя, а он милостив. Но об Селиванове напоминала и хлопотала жена, а хлопоты любящей жены, конечно, настойчивее всяких дружеских хлопот. Это мне говорил человек, правивший должность вятского губернатора.

К вящему моему удовольствию мимо моей квартиры носили ежедневно по нескольку гробов, ибо холера не шутила здесь, но теперь почти проходит. Как она не поразила меня в то время, как мне ставили пиявки, — это я приписываю особенной благодати бо-

<sup>18</sup> Федор Петрович Гааз (1780—1853) — известный филантроп, главный врач московских тюрем.

жей. Я был в страшном положении. Если бы только исходатайствовать мне прощение, все бы поправилось, состояние сохранилось, ибо я принял бы меры, и меры надлежащие. Душевные силы, чувствую, не ослабели. Боюсь одного, что здесь здоровье разрушится. Поклонись Софье Борисовне, поцелуй у нее ручку. Пиши ко мне, да поговори Варвинскому.

Н. П.

\* \* \*

7

4 сентября 1853 года

Пишу тебе сегодня, любезный друг, единственно затем, чтобы поздравить Софью Борисовну и тебя с днем ее именин. Давно уже не пил я вина, но 17 сентября выпью бокал шампанского и перенесусь мысленно в Дегтярный переулок <sup>19</sup>.

Очень меня тревожит, что не имею давно никакого известия от моей матушки. Здорова ли она? Наконец сын мой перестал заниматься один: взяли ему учителей, и, кажется, хороших; но к великой моей радости, все делается по-немецки, или с немецкого, или на немецкий: надо было, чтоб случилось с сыном отца, который такой охотник до немцев! В числе предметов учения забыты два, конечно, ничтожные: русский язык и закон божий с священной историей. Ты подумаешь, что я шучу; нет, говорю истину, не изобретая ни слова. Но ведь зато какой-то г. Френкель будет обучать физике с химией и астрономией 14-летнего мальчика, который, несмотря на многие знания и порядочное развитие, делает ошибки в правописании. Веришь ли, что я не сплю ночи, думаю об этих неле-

---

<sup>19</sup> В этом переулке находился собственный дом Шевырева.

постях. Право, не имею намеренья разжалобить тебя, а глаголят уста от избытка сердца. Положим, что нервы мои придираются ко всему, чтобы найти пищу для раздражения, но мне кажется, что обстоятельство довольно важно и дает мне право на тревогу душевную. Вот если бы было известно, как я желаю создать из своего сына русского, то, конечно, ложное мнение о моем вольнодумстве исчезло бы с корнем. Будь здоров, любезный друг, и не забывай пермяка.

Н. Павлов

\* \* \*

8

7 октября 1853 года

Твое письмо, любезный друг Степан Петрович, друг добрый и истинный, произвело на меня самое благотельное действие: на ту минуту, как я читал его, я помирился с моим положением, и это положение не так было тяжело мне, потому что, не будучи в Перми, я не получил бы от тебя и такого письма. Но ты отравил его только известием, что к Софье Борисовне возвратился прошлогодний кашель. Отчего нельзя принимать на себя недугов друга, которого любишь? Я бы, право, теперь согласился покашлять здесь за нее: это бы не прибавило даже моих страданий и прошло между ними незаметно.

Я в большой досаде на Кудрявцева, что он не исполнил еще моего поручения 17 сентября. Может быть, исполнил теперь. От матушки я уже имею известие, и она, слава богу, здорова. Известие, которое ты даешь мне о друзьях, что им позволено напомнить, меня очень оживило. Да помнят ли друзья? Не надобно ли возбудить их собственную память?

Ипполит мой учится славно. В греческом и латин-

ском языках делает быстрые успехи. Надеюсь, что его счастливая организация выйдет невредима из круга нелепостей, в которых он вращается и которые понимает. Я уже писал ему об астрономии, химии, о несовременности этих знаний, и о законе божьем с чтением священного писания, и о русском языке с чтением памятников. Надеюсь, что он своими усилиями и настояниями успеет водворить здравый смысл в свое воспитание. Но это можно сделать только силой, как ты говоришь, убеждением, объяснением, мыслью о счастье сына, доказательствами, взятыми из очевидной необходимости; ах, друг, неужели тебе до сих пор неизвестно, что действовать этими средствами в нашем семействе есть совершенная материальная невозможность: я имел влияние через воображение, через рас­судок — никогда. Но что об этом говорить? Грустно и тяжело.

Вердеревский приехал с Кавказа, и я ему говорил об автобиографии. Ты очень занят; да когда же ты занят не был и когда будешь не занят? Благодарю бога, что занятие сделалось необходимой стихией твоей жизни. Поклонись, пожалуйста, Брусилову, если он приехал; да в какой же деревне он? Сегодня я обедал у именинника, председателя<sup>20</sup> соединенных палат, где был губернатор и все, а вечером должен отправиться на бал к председателю палаты государственных имуществ. Вот это мне тяжело, потому что я в этих собраниях ни на что не нужен и никуда не го­жусь. Представь, что я открыл здесь преданья об одном докторе, который умер лет 16 назад. Скажу тебе одно: иные до сих пор, проходя мимо его дома, снимают шляпы, или лучше шапки, и говорят «дай, бог,

---

<sup>20</sup> Статского советника Сергея Ивановича Селивачева.

царство небесное». К сожалению, доктор был немец<sup>21</sup>. Об нем будет у меня славная статья. К несчастью, все не могу писать, все был болен, раза два делалось биение сердца, и я остерегался всего, что могло волновать. Мне всю грудь исследовали стетоскопом и нашли, что органического повреждения нет; а пульс все остается перемежающимся! Впрочем, я не наблюдаю его больше. Если нервы причину, то беспрестанное внимание к такому странному явлению может быть только вредно. Ах, когда-то мы увидимся? Передай мой душевный поклон Софье Борисовне.

Н. Павлов

\* \* \*

9

24 ноября 1853 года

Любезный друг Степан Петрович, я опять забыл твое рождение, но ведь тебя-то я помню, в чем ты, конечно, и не сомневаешься. Кажется, все мои мысли направлены на воспоминания, и не могу понять, каким образом 18 ноября не пришло в голову. На днях адресовал я на твое имя письмо к Кошелеву единственно потому, что я не знаю, в Москве ли он или еще нет.

Вердеревский не может до сих пор написать своей автобиографии, ибо не имеет свободной минуты в точном значении слова: у него рекрутский набор и потом председательство казенной палаты. Я же не пишу моей автобиографии оттого, что надо, кажется, поместить сведения о всех сочинениях, где они были

<sup>21</sup> Имеется в виду Ф. Х. Граль (1770—1835), прослуживший врачом в Пермской губернии 44 года. Прославился своей бескорыстностью.

напечатаны и в каких годах, а я ничего не помню. Разве время не терпит? Мне хотелось бы это сделать обстоятельно.

Здесь есть некто Сергей Александрович Костливцев, у которого жена и дети. Он воспитывался в лицее, безукоризненной честности и занимает здесь место председателя палаты государственных имуществ. Не могу тебе передать ясно того радушия и участия, какие я нашел в этой семье, под их гостеприимным кровом. У них жила в должности гувернантки французженка, которая теперь отправляется в более теплую сторону, и, следовательно, им нужна другая. Необходимо, чтоб она хорошо знала французский и немецкий языки и могла бы (хотя это не совершенно необходимо) давать уроки на фортепьянах. С музыкой они могли бы заплатить 800 руб. серебром, а без музыки — 700 руб. Кроме этого жалованья, гувернантка может иметь здесь уроки французского языка, хотя и незначительные. Костливцевы — люди прекрасные, деликатные; за это я ручаюсь. Прошу тебя, любезный друг, поговори, справься: ты меня чрезвычайно одолжишь; я считаю долгом, святым долгом чем-нибудь услужить Костливцевым. Они скоро уедут в Петербург через Москву; тогда я тебя уведомяю и попрошу как тебя, так и Кошелева повидаться с ними, чтобы сказать приветливое слово в благодарность за меня.

Твои занятия, разумеется, не позволят тебе искать гувернантки, но ты можешь поручить кому-нибудь.

До сих пор здесь не было морозов выше 7 или 8 градусов, а вчера и сегодня почти оттепель. С ужасом ожидаю я той страшной стужи, которою мне грозят. Пульс мой продолжает перемежаться. Нервы в прежнем, т. е. скверном состоянии. О душевном состоянии говорить нечего; все ожидаю и все напрасно. А для сына, для дел, для моего здоровья каждая минута

уносит много. Сюда приехал князь Радзивил<sup>22</sup>, генерал в свите государя императора, по случаю набора. Он вчера целое утро просидел у меня и вообще показал чрезвычайно много внимания. Проехал здесь и Карамзин обратно в Петербург, пробыл только несколько часов, но у меня все-таки был. Ты замечаешь во мне чаадаевскую замашку? Но я, право, упоминаю об этих обстоятельствах не из суетности или тщеславия, а единственно с мыслью, что тебе будет приятно знать, как хорошие люди внимательны ко мне. Князь Радзивил говорил здесь, между прочим, что не встречал человека, у которого было бы столько горячих друзей, как у меня. Я уж не знаю, правда ли это.

Поцелуй ручку у Софьи Борисовны. Надеюсь, что кашель ее прекратился и что твои нервы не шалят более. Боже мой, боже мой, когда же все кончится?

**Н. Павлов**

Р. С. Напиши мне что-нибудь о «Божьем мире».

Р. С. Вот опять воротились ко мне бессонные ночи. Это страшно мучительно.

**А. С. Хомякову<sup>23</sup>**

1 мая 1853 года

Лучший день весны мгновенной,  
 Лучший праздник у Москвы,  
 Где премудро и смиренно  
 В этот час шумите вы,  
 С ясной мыслью, с чувством чистым  
 Я встречал в кругу друзей  
 За вином твоим душистым  
 И под звук твоих речей.

<sup>22</sup> Князь Лев Людвигович Радзивил.

<sup>23</sup> Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — писатель, поэт, публицист.

Вешней прелестью своею  
Не за тем он сердцу мил,  
Что собраться в ассамблею  
Немец русского учил;  
Что Сокольничее поле  
Сохранило память дел,  
Как наш предок поневоле  
Веселился, пил и ел.  
Что мне эти все преданья?  
Говор славы иль позор?  
Первый крик твой, крик страданья,  
На земле твой первый спор...  
Этот день за то мы чтили  
И за то нам дорог он,  
Что тебя благословили  
Златоуст и Апполон.  
Сердца скорбные усилъя  
Растревожили мой мир:  
Где бы взять для воли крылья  
И примчаться к вам на пир?  
На пространстве тесной рамы  
Обозначен мне предел...  
Я ходил на берег Камы,  
Долго в быструю смотрел:  
На ее волнах широких  
Видел множество чудес,  
В бездне вод ее глубоких  
Чуял таинство небес.  
Я желал, смятенья полный,  
Наклоняся над ней,  
Лечь на ласковые волны,  
К цели донестись скорей.  
Шлют тебе привет печальный,  
Поздравленье пермяка;  
Из ворот Сибири дальной,  
Из кочевьев Ермака;  
От богатого Урала,  
От страны бессонных грез,  
Где земная почва стала  
Нивой золота и слез.  
Но пленительных для глаза  
От меня не жди даров;  
Не для перлов и топаза  
В край попал я рудников;

Не корысти жадной рану  
На душе я притаил,  
И за золотом к шайтану  
Я с молитвой не ходил.  
Ты не взглянешь, как на чудо,  
На сокровища мои,  
Да и взял я не отсюда  
Столько горя и любви.  
В эту землю роковую,  
Сердца вечную грозу,  
Внес я дань недорогую,  
Примешал и я слезу.

Н. Павлов

### ИЗ ПИСЬМА Н. М. САТИНУ <sup>24</sup>

26 мая 1853 года

...Ехал я от Москвы до Перми 23 дня... Все вы думали, что я человек изнеженный, привыкший к удобствам жизни, который не может обойтись без них, а между тем я совершенно равнодушен ко всем физическим лишениям. Я это доказал и доказываю... Я здесь остановился было на постоялом дворе в одной комнате... и не замечал, что в ней неудобно и скверно. Едва уговорили меня перейти в две другие... и все уговаривают взять квартиру, где и лучше, и дешевле.

...Губернатор — чудесный человек. Общество ко мне очень благосклонно, приняло меня здесь как литературную знаменитость.

Н. Павлов

---

<sup>24</sup> Николай Михайлович Сатин (1814—1873) — писатель, переводчик. Н. Павлов послал ему из Перми три письма: 26 мая, 17 июня, 25 октября 1853 года.

**ИЗ ПИСЕМ К Н. Ф. ПАВЛОВУ  
В ПЕРМЬ ЕГО ПРИЯТЕЛЕЙ**

**А. В. Веневитинова**<sup>25</sup>

31 мая 1853 года

...Долго не отвечал на твое грустное письмо, любезный друг Николай Филиппович, потому что, прежде чем писать, мне хотелось посоветоваться с моими и твоими здешними друзьями и вместе обдумать, чем бы можно было облегчить судьбу твою<sup>26</sup>. Вот тебе результат наших рассуждений. Ты ведь не политический какой-нибудь преступник, а страдаешь вследствие семейной на тебя жалобы и вследствие увлечений, которым столь губительно предала тебя страсть к игре. В этом ты сознаешься...

**Т. Н. Грановского**<sup>27</sup>

...Скоро ли мы увидим вас в Москве? Вот бы был хороший праздник, если бы вы успели сюда к рождеству. Дай бог! Вчера Рачинский<sup>28</sup> передал мне содержание последнего полученного им от Ипполита письма. Он много работает и думает, что будет в состоянии держать экзамены в наш университет в нынешнем же году. Жаль было бы уступать его Дерпту.

---

<sup>25</sup> Веневитинов Алексей Владимирович — брат известного поэта, друга А. С. Пушкина, Д. В. Веневитинова (1805—1827).

<sup>26</sup> Павлов получил разрешение вернуться по представлению пермского губернатора Огарева и по ходатайству императрицы, которую просил о том тесть А. В. Веневитинова, граф М. Ю. Виельгорский (1777—1856) — музыкальный деятель и композитор, хозяин литературно-музыкального салона.

<sup>27</sup> Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — общественный деятель, профессор всеобщей истории Московского университета.

<sup>28</sup> Один из будущих профессоров Московского университета, братьев Рачинских, учившихся некогда в Дерпте (теперь город Тарту Эстонской ССР).

Без хвастовства, Московский университет в настоящем составе совсем не хуже Дерптского, а к тому же он русский. Немецкие университеты хороши для молодых людей, кончивших уже курс в русских высших заведениях, но начинать в них не следует. Употребите же ваше внимание для помещения Поли к нам...

### А. С. Хомякова

Бесконечно благодарен я тебе, любезный Павлов, за твои милые стихи<sup>29</sup> и за то, что ты меня этим дружески вспомнил. Но эти стихи, они уже почти не ко мне, **не ко мне теперешнему**, а к прежнему, детски счастливому и от этого помогавшему другим изредка против скуки жизни. Этот я кончился, и странно тебе покажется, что я уже и не хотел бы его воротить, хотя могу о нем поплакать<sup>30</sup>.

Бедный мой Павлов! На тебя много обрушилось сразу. Не нужно тебе говорить, как я тебе сочувствовал с самого начала и что я говорил и делал все, что мог сказать и сделать. Видно, так уж устроено, что человеку не прожить на земле без ударов по голове или оплеух по лицу, и те, которые, по-видимому, счастливы во всем, уже получили, а другие получают, а другие уже получают свои весьма болезненные оплеухи. Так всем назначено. Хорошо, коли кто может сказать себе: «Получил, да не заслужил». Одно жаль, что никто о себе этого сказать не может. Поэтому остается еще одно хорошее сказать себе: «Получил не без заслуги, да и не без пользы». В этом всякий волен. Для этого нужно только несколько рассуждения да не-

<sup>29</sup> Павлов прислал Хомякову из Перми стихи, написанные на его день рождения 1 мая. В этот день обыкновенно собирались у Хомякова его приятели.

<sup>30</sup> Хомяков имеет в виду смерть своей жены, Екатерины Михайловны, сестры поэта Языкова, скончавшейся в январе 1852 года.

сколько твердости. У тебя и того, и другого достаток, если захочешь. Была бы воля приняться за самого себя.

Грустишь ты, и как не грустить? Но, пожалуйста, сохрани бодрость в своей грусти. Дай ей большие размеры. Пусть она вызовет в тебе художника, мыслителя; пусть вызывает она в тебе все лучшее. Всякое горе — род эмиграции; а самое злое, что сказано было про эмигрантов, это: «ils n'ont rien oublié et rien appris»<sup>31</sup>. Из горя человек не должен выходить французским эмигрантом... Хотелось бы сказать, что стихи твои очень милы, что они повторяются с удовольствием не одним тем, для кого они написаны и кто, следовательно, несколько подкуплен, что и тебе должно и очень должно заставлять нас помнить о себе, а это совсем не то, что просто забывать...

Прощай покуда. Мы тебя не забываем и не забудем.

Твой А. Хомяков

### С. П. Шевырева

Поздравляю тебя, любезнейший именинник. Завтра поздравляю тебя мысленно. Как ты в Перми отпразднуешь день твоего ангела? Хорошо, если бы к тому времени получил ты позволение возвратиться в Москву. А я вчера был порадован этой весточкой в гостиной Свербеевых<sup>32</sup>... Третьего дня получил только твое письмо. Ты выражаешь томительное ожидание, но ничего радостного еще не говоришь. Мы, однако, все исполнены надеждой. Слухи добрые ходят не даром... Хорошо бы, если бы ты мог от суровой зимы перм-

---

<sup>31</sup> Они ничего не забыли и ничему не научились (фр.).

<sup>32</sup> С в е р б е е в ы — богатые дворяне, устраивавшие литературные вечера.

ской перебраться в Москву. Радуюсь тому, что все просвещенные и добрые люди наделяют тебя участием. Верь, что я ценю это участие и все, что ты передаешь о нем, мне особенно приятно. Доброе сердце твое награждено им.

**А. И. Кошелева**<sup>33</sup>

...Видно, нужно было провести вас через это испытание. В уединении, далеко от сына и друзей, вы должны иметь много времени для размышления, и душа ваша может поглубже войти в себя и рассмотреть себя со всех сторон. Конечно, по делу вы правы; но по жизни вообще, по легкости, с которой вы смотрели на ход вещей, по увлечению, с которым вы предавались картам и пр., вы не правы. Необходимо было вас осадить и усадить. С этой точки ваше нынешнее несчастье есть залог будущего счастья, и вы должны не роптать на судьбу, но видеть в этом перст провидения, вас еще милующего. Вы, может быть, скажете, к чему эта мораль? Кого любишь, с тем говоришь откровенно, как сам с собою...

---

<sup>33</sup> Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — известный публицист и общественный деятель.

*Евграф Александрович*  
**ВЕРДЕРЕВСКИЙ**  
(1825— ? )

Выпускник Царскосельского лицея 1845 года, Е. А. Вердеревский по приглашению своего дяди, председателя Пермской казенной палаты 1846—1853 годов Василия Евграфовича Вердеревского, в мае 1848 года приехал в Пермь и занял должность чиновника особых поручений при губернаторе. Через два года он был утвержден заседателем от дворян в Пермском совестном суде. Жил в доме дяди.

Участь в лицее, Вердеревский увлекался поэзией, некоторые свои стихи напечатал в журнале «Северная Пальмира», а в 1847 году выпустил первую поэтическую книгу «Октавы» (Спб, 1847).

В Прикамье Вердеревский много ездил, наблюдал жизнь, посещал Ирбитскую ярмарку, итогом чего явилась статья «Ирбитская ярмарка», опубликованная в «Отечественных записках» 1849 года, № 8. Позднее Вердеревский включил ее в книгу «От Зауралья до Закавказья: Письма с дороги» (Спб, 1857). Кроме этого, в Перми он написал одноактную пьесу «Мемуары», которую опубликовал журнал «Отечественные записки» в 1852 году, № 9.

В 1853 году его дядю перевели на ту же должность в Нижний Новгород, вместе с ним уехал из Перми и племянник.

В августе 1853 года Е. А. Вердеревский назначен чиновником IX класса при канцелярии Кавказского наместника в Тифлисе, одновременно редактирует газету «Кавказ». С 1856 года служит мировым посредником в Подольском уезде Московской губернии, но вскоре по болезни выходит в отставку. Умер в умопомешательстве. Год смерти установить не удалось.

## ОТ ЗАУРАЛЬЯ ДО ЗАКАВКАЗЬЯ

### ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ, СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА С ДОРОГИ

#### Из письма 1-го

...Подвигаясь в пространстве от Урала к Кавказу, я намерен обратить внимание не на одни только местности; я буду подвигаться и во времени, то есть постараюсь обозначить: где, в какое время преобладает деятельность, и таким образом вместе с наружностью проезжаемых стран обозначу и внутреннюю жизнь их, по крайней мере в весенний период этой жизни... Повторяю: я хотел бы сделать путешествие вместе с уральскими коломенками<sup>1</sup>, которые, пока происходит февральская ирбитская ярмарка, строятся на пристанях Колвы, Камы, Чусовой, Серебрянки, Исети, Уфы и др. рек уральских и со вскрытием льда поплывут, нагруженные уральскими продуктами: солью, хлебом и железом, ко внутренним и южным пристаням России, по Каме, Волге, Оке и Дону — в Нижний, С.-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, Таганрог и проч.

#### Из письма 3-го

6 марта 1853 года, г. Кунгур

С Кленовской станции горы, а с ними и дорога заметно понижаются. Влево, за Ачитом, идет проселок в Красноуфимск, ничем не замечательный уездный городок Пермской губернии. Сорок верст за Ачитом — живописное «Златоустовское селение», или «Ключи»; последнее название дано селению на том основании, что вокруг него множество разных ключей, из которых

<sup>1</sup> Род баржи.

один минеральный, холодный, сильно пропитанный серой. Маленькая речка, образуемая из множества источников, не замерзает во всю зиму, и странно видеть на ней плавающую домашнюю птицу, тогда как в воздухе 15° мороза, а на берегах речки высокий слой снега. К серому златоустовскому ключу приезжают летом больные, но в небольшом числе, вероятно, потому, что при ключе нет ни устройства, ни врача; да и самый ключ пользуется известностью только в окрестных сторонах или между недужными, получившими от него исцеление. Здешний станционный смотритель считает себя знатоком свойств серного ключа и подает советы приезжающим сюда, для пользования. Ключ выбегает из подошвы значительной горы, неподалеку от речки, которая часто его заливает пресной водой. Миновав Суксунскую высоту, последнюю западную отрасль Урала по почтовому тракту, и проехав бесконечную Моргуновскую станцию, я спустился в глубокую котловину Кунгура, одного из старейших пермских городков, весьма красиво раскинутого в глубокой долине, при слиянии рек Сылвы и Ирени. Кунгур замечателен своим кожевенным делом, огурцами, любовью своих граждан к большим колоколам и, между прочим, древностью существующего здесь обыкновения, оставшегося едва ли не от веков Калиты<sup>2</sup> и Боголюбского<sup>3</sup> и строго соблюдаемого не только низшим классом народа, но и людьми чиновными. В чем состоит этот обычай, вы сейчас узнаете из моего разговора с служанкой одного кунгурского моего знакомого, к которому завернул я на минутку, проходя через город.

---

<sup>2</sup> Иван Калита — князь Московский (1325—1328), великий князь Владимирский.

<sup>3</sup> Андрей Боголюбский (1111—1174) — видный государственный деятель Древней Руси, внук Владимира Мономаха, сын Юрия Долгорукого.

— Дома барин? — спросил я краснощекую здоровую бабу, сидящую на подъезде с чашкой пельменей, плававших в уксусе.

— Нету-ка! — отвечала мне камеристка, дожевывая сочный и толстый, как сама она, пельмень, или, правильнее, пельнянь.

— А где же барин?

— В бане.

— Ну, так я пройду к барыне.

— И барыни нету.

— Где же барыня?

— Да и она в бане.

Я вспомнил, что сегодня суббота и что здесь добрые супруги никогда и нигде не разлучаются.

Отсюда до Перми только 87,5 верст. Говорят, что дорога будет превосходная и что меня довезут до губернского города в какие-нибудь шесть часов.

#### Письмо 4-е

6 мая

Нынешний мой приезд в Пермь для меня очень многозначителен: он, по-видимому, последний! Впрочем, за что человек может ручаться на свете? Не готов ли я был ручаться лет восемь тому назад, что меня, еще юного служителя петербургской Фемиды и петербургских Муз<sup>4</sup>, никакой ветер не занесет в эту новую столицу древнего «Пермского конца» древних Новгородцев? И, между тем, я прожил в ней пять лет!

<sup>4</sup> Фемиды — в греческой мифологии богиня правосудия.

Музы — богини-покровительницы искусства.

Вердеревский начинал служить в Петербурге в Министерстве иностранных дел, к этому времени опубликовал несколько стихотворений и выпустил первую свою книгу «Октавы» (СПб, 1847).

Переезжая, в буквальном смысле стихов Пушкина

...От Перми до Тавриды,  
От холодных финских скал до  
пламенной Колхиды,

сколько раз испытывал я следующее происшествие: еду, бывало, куда-нибудь верст за тысячу и рассчитав заранее день и даже час, в который следовало мне доехать до цели, совершенно успокаиваюсь в моей повозке или в моем тарантасе и даже не слишком тороплю моих флегматических ямщиков в полной уверенности, что в такой-то день и час непременно доеду, куда следует... И что же? Вдруг на какой-нибудь станции приглашают меня провести ночь или даже целые сутки, объявляя, что нет и не будет мне лошадей, или сломается ось моего тарантаса и вынудит меня, совершенно против моих расчетов, денек-другой повременить — в таком месте нашей обширной империи, в котором произвольно не остался бы я ни за какую премию.

Точно такие проделки совершает с нами судьба и на другой, более широкой и продолжительной дороге: на дороге нашей жизни. Вдруг ей вздумается подломить вашу ось где-нибудь в Перми и на пять лет сделать Пермь вашей станцией.

Эта история бывает со всеми; была она и со мной, и именно в Перми дождался я пять лет, пока судьба исправляла ход моего экипажа для дальнейшего житейского странствования. Несмотря на эпиграф письма, обещающий вам, любезные друзья, картину глухого заброшенного русского городка, я вовсе не думаю забавлять вас описанием «глуши печальной». По моему мнению, слова Грибоедова «В Саратов, в глушь...» не только не могут в наше время относиться к Саратову, но не могут быть применены даже и к Перми. В Пер-

ми читаются журналы и газеты, которые после открытия Московско-Петербургской железной дороги получают здесь из Петербурга в десятый день: трудно же назвать глушью город, который от столицы отстает только десятью днями в приобретении новинок. Через Пермь лежит большой тракт в быстро расцветающую Сибирь и в торговый город Ирбит; следовательно, не бывает в Перми недостатка в заезжих гостях, часто именитых и просвещенных, которых гостеприимно встречают пермяки и которые не всегда находят в Перми глушь или скуку.

В Перми, наконец, есть пароходство, есть театр, есть порядочные люди. Чего же еще вы можете потребовать от любого провинциального города не только в России, но и в Северной Англии, в Шотландии, во французских провинциях; свидетели тому: Теккерей, Жюль-Сандо, Шарль-Бернар<sup>5</sup> и многие другие нравописатели, совершенно заслуживающие доверия.

Правда, есть в Перми несколько тяжелых условий жизни, несколько смешных или невыносимых типов; есть там суровая (но и здоровая!), шестимесячная зима; есть там болезненная любовь к картам, есть сплетни, есть недоученные умники, есть невыносимо брюзгливые старики, есть приводящий душу в уныние оркестр...

По свидетельству некоторых почтенных путешественников, есть кое-что и хуже в Перми; так, например, г. Мельников<sup>6</sup> нашел здесь едва ли не египетскую

<sup>5</sup> Теккерей (1811—1863) — английский писатель, автор романов «Ярмарка тщеславия» (1848) и «Пенденнис» (1850).

Жюль-Сандо (1811—1883) — французский балетрист, близкий друг писательницы Жорж Санд (1804—1876).

Шарль-Бернар (1804—1854) — французский романист, друг и ученик Бальзака.

<sup>6</sup> Мельников-Печерский П. И. (1818—1883) — русский писатель, жил в Перми с 1837 по 1839 год, описал Пермь в очерках «Дорожные записки» (на пути из Тамбовской губернии в Сибирь).

тému невежества; г. Горлов<sup>7</sup> — невероятное исключительно большое, сравнительно с прочими городами России, потребление игральнх карт; г. Небольсин<sup>8</sup> — чересчур изуродованный русский язык, как, например, выражение «прошки ширкнуть» вместо «табаку понюхать»; но, не в обиду почтенным литераторам, все это небольшие с их стороны преувеличения! Что же касается до имеющих в Перми брюзгливых старичков, действительно пристрастия к картам, сплетен, недоученных умников и одичалого оркестра, то, опять-таки, скажу, где же на Руси, в каком провинциальном городе нет этих явлений?

Зато, с другой стороны, сколько здесь и явлений, примиряющих с жизнью в провинции! Конечно, быть может, надобно прожить здесь пять лет, чтобы по достоинству оценить их; взгляду проезжего они не открываются; но тем не менее они существуют, и я хочу вам о них свидетельствовать.

Почти с сожалением об оставляемой мною Перми вспоминаю я теперь о тишине, которую встретил я только здесь и в которой так привольно, так свободно созреть всякому умственному труду. «С отрадой, многим незнакомой», вспоминаю я, и буду всегда вспоминать, об этих мирных вечерах в немногих, конечно, но тем еще более драгоценных кружках, где хозяин так проникнут чистой любовью ко всему правдивому и возвышенному, где хозяйка так радушно приветлива и так умно и мило разговорлива, где с истинным наслаждением и верной оценкой встречается каждое новое замечательное явление отечествен-

---

<sup>7</sup> Горлов И. Я. (1814—1890) — профессор Казанского университета. В «Ученых записках Казанского университета» поместил «Описание Тагильского горного округа» (1840).

<sup>8</sup> Небольсин П. И. (1817—1883) — историк и этнограф, показал Пермь в «Заметках на пути из Петербурга в Барнаул» (1848).

ной литературы, где еще разговаривают о русской литературе, где имена Авдеева<sup>9</sup> или Тургенева, Григоровича<sup>10</sup> или Дружинина<sup>11</sup> произносятся часто и с уважением, где идут споры о Лермонтове и Пушкине, где все эти споры и чтения прерываются невзыскательной доморощенной музыкой и заканчиваются превосходным ужином с отличнейшими винами...<sup>12</sup>

А лето в Перми? А эти кабриолетные ристалища вдоль бесконечной тенистой аллеи? А прогулки по высокому берегу Камы, которая широко и величаво обтекает с одной стороны красивый городок, а с другой бесконечную равнину лесов? А эти страшные явления лесных пожаров, издаലെка проливающих зловещий свет своего зарева на темное ночное небо, на тихую реку и на спящий город? А эти одинокие прогулки верхом?

Все это, как хотите, имеет свою цену в глазах людей, ищущих в жизни не одних мишурных упоений блеска, но и этих прочных наслаждений, которые сердце и ум находят только в тишине и свободе.

Не требуйте от меня, как от пятилетнего жителя Перми, подробного изложения ее «статистических данных». Немногим просветлеет понятие ваше об этом городе, если, в дополнение к сказанному выше, я прибавлю, что в Перми есть пять прекрасных каменных церквей и одна деревянная (на живописном здешнем «старом» кладбище), что тут считают до 11 000

---

<sup>9</sup> Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876) — русский писатель, сотрудник «Современника», автор нашумевших романов «Тамарин» и «Подводный камень».

<sup>10</sup> Григорович Д. В. (1822—1899) — русский писатель, автор повестей «Деревня» (1846), «Антон Горемыкин» (1847), романа «Проселочные дороги» (1852).

<sup>11</sup> Дружинин А. В. (1824—1864) — беллетрист, критик, фельетонист, переводчик.

<sup>12</sup> Вердеревский имеет в виду вечера на квартире известного общественного деятеля, публициста и краеведа Д. Д. Смышляева, с которым он подружился в Перми.





*Улица Сибирская (ныне улица К. Маркса)*

жителей, что две лучших здешних улицы называются — одна Большой, а другая Богородской<sup>13</sup>; что здесь есть три-четыре прекрасных магазина, что здесь на улицах никогда не бывает грязи, потому что весь город построен на песчаном грунте и на возвышенности, с которой, естественно, всякая влажность стекает в Каму, что на лето приезжает сюда екатеринбургская (весьма удовлетворительная) театральная труппа; что климат здесь до того здоров и крепителен, что доктора забывают половину своих рецептов, а старики живут по два века и, как здесь выразительно говорится, «чужой век заедают». Не буду много распространяться обо всем этом; если же судьба, занесет кого-нибудь из вас в Пермь, хотя на короткое время, то послушайте моего совета и обратите особенное ваше внимание на следующие достопримечательности Перми: прогуляйтесь по берегу Камы, или влево от городского собора, или по горам старой мотовилихинской дороги и полюбуйте, с романом Фенимора Купера в руках, этой огромной, плавной, величавой рекой и противоположным берегом ее, покрытым лесами и лесами на необозримое пространство. Я уверен, что эта пустынная река, этот безграничный лесной мир покажутся вам братьями тем американским рекам и тем девственным саванам, которые так живописны на страницах Купера. Прокатитесь верхом или в кабриолете, в низеньком и удобном здешнем кабриолете, верст за семь по Сибирскому тракту: вы здесь испытаете наслаждение дышать чистым, крепительным воздухом, пропитанным смолистыми благоуханиями хвойного северного леса. Сходите на старое кладбище (только не читайте доморощенных надгробий: они не расположат вас к приятной меланхолии)

---

<sup>13</sup> Сейчас Комсомольский проспект (Большая) и улица Ленина (Богородская, затем Покроаская).

и полюбуйте́сь этим дремучим бором, в тишине которого, кажется, так спокойно и так прохладно почивать усопшим.

Побывайте в летнем отделе Петропавловского собора. Здесь увидите вы фрески никем не замеченной, но замечательной работы А. У. Орлова, самородка-художника, получившего едва первоначальные уроки живописи от монахов Саровской пустыни<sup>14</sup> и потом в Арзамасском училище живописи. Мещанин Орлов, как многие его собраты на Руси, при необыкновенной даровитости своей, с помощью которой уже успел он встать на значительную высоту в своем искусстве, мало дает цены своему дарованию, которое, конечно, требовало бы и большего образования самого художника, и лучших образцов. Орлов был лет десять тому назад в Петербурге, видел Эрмитаж, был в залах Академии; но с тех пор, как судьба забросила его в Пермь, беспечно живет он где-то в пригородной слободке, окружил себя учениками и помощниками и работает лишь столько, сколько находит нужным для снискания средств к неприхотливой жизни; о дальнейшем же усовершенствовании своем мало заботится, как по врожденной беспечности характера, так и вследствие больших надежд, которые он полагает на силу действительно огромного своего дарования. Надо дивиться смелости, грации и величию его эскизов; надобно дивиться сходству портретов, рассеянных им по всем кабинетам и гостиным (и за какую ничтожную плату!). И все это достигается путем собственного наблюдения, собственных попыток приблизиться к природе. Одно из правил, которым следует художник постоянно, это писать с натуры; и это правило, вероятно, всего более способствовало развитию его даро-

---

<sup>14</sup> Саровская пустынь — мужской монастырь в Тамбовской губернии.

вания, в котором сама природа вместила большую долю творчества и грации. Один недостаток, который найдете вы в художественных произведениях самородка-художника, это какой-то сероватый, тусклый колорит и всегда бледноватое освещение. Очевидно, что недостаток этот происходит в художнике оттого, что он не видел другого неба, кроме северного, пермского! Советую вам отыскать в слободке мастерскую Орлова: тут вы познакомитесь с его эскизами и, может быть, с самим художником, которого добросовестная, простосердечная даровитость, скромность и светлые проблески природного ума и благородного сердца доставят вам истинное удовольствие.

Наконец, побывайте еще на камской пристани при отплытии пароходов и барж, когда последние грузятся таким огромным количеством кяхтинского чая или уральского железа! Тут увидите замечательное движение, услышите несколько живописных местных выражений пермского идиома и, может быть, решитесь попробовать на вкус знаменитых пермских пельняней (пельнянь по-пермяцки — хлебное ухо), ошибочно называемых пельменями, этого любимого лакомства целой Сибири и всего приуральского края: оно и кисло, и сытно, и не без запаха лука, так дорого ценимого русским человеком.

Но, кажется, я заболтался. Пора и мне на пароходную пристань; отплытие парохода «Стрела» назначено в 9 часов утра. Спешу, привожу свои пожитки, и — что такое? Отплытие отложено до вечера! Это очень неприятно, потому что я принужден искать в городе приюта себе и вещам моим, после того, как уже простился с городом.

Вечером опять тороплюсь, опять спускаюсь на пристань и опять узнаю, что отплытие «Стрелы» отложено на завтра. Это невыносимо! Но что же при-

кажете делать?! Еще не нагружены все баржи, которые отправятся на буксире за «Стрелой». Назавтра прихожу в назначенное время, т. е. к восьми часам утра, жду до девятого, до десятого, до одиннадцатого, наконец, до 12-го часа: «Стрела» не двигается. Уже сто раз успели проститься отплывающие пассажиры с остающимися горожанами, сто раз те и другие нетерпеливо взглядывали на часы, а пароход ни с места... Вот наконец поднялось какое-то вялое и медленное движение работников на баржах, вытаскивают якорь парохода на палубу. Общество остающихся в городе окончательно прощается с обществом отъезжающих и переходит по доскам с парохода на пристань. Раздается звонок, за ним команда шкипера, из большой трубы вылетает первый черный клуб дыма, и «Стрела» срывается со своего места.

Письмо это заканчиваю в каюте «Стрелы». Следующее пошлю вам из Казани.

**ИЗ ПИСЕМ Е. А. ВЕРДЕРЕВСКОГО  
К В. М. ЛАЗАРЕВСКОМУ**<sup>15</sup>

9 октября 1847 года

Дорогой наш и милый Василий Матвеевич!

Это второе мое письмо будет, вероятно, последним из Петербурга. Да, через месяц уезжаю в Пермь. Самые лестные приглашения — от моего дяди и от тамошнего губернатора Огарева — решили мой отъезд, и в конце ноября я выезжаю с целым скарбом вещей, книг и даже с инструментом, на котором я, помните, играл вам в одну из памятных минут.

---

<sup>15</sup> Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890) — литератор, переводчик, цензор. Вердеревский познакомился с ним во время непродолжительной службы в Министерстве иностранных дел.

Два или даже три года провинциальной жизни обещают мне многое для развития и науки, тем более, что я получаю место спокойное и не хлопотливое: редактора «Губернских ведомостей», распорядителя городской типографии, или чиновника по особым поручениям при губернаторе, и 2500 рублей ассигнациями жалованья.

22 января 1848 года

Посылаю вам наконец мою «Ирбитскую ярмарку»<sup>16</sup>, отдайте ее Панаеву<sup>17</sup> да постарайтесь взять за нее хоть по 25 рублей серебром с печатного листа. Если не даст, так обратитесь к Краевскому<sup>18</sup>, эта вещь интересна, особенно потому, что заключается в ней вопрос о соперничестве Ирбита и Тюмени. Только нельзя ли все это сделать без малороссийской лености, а подружески, т. е. поскорее, потому что после марта минует современный интерес статьи (в марте оканчивается знаменитое торжище) — да притом и деньги мне крайне не излишни...

Вы пишете мне кое-что о вашей литературной деятельности. Не много же оставляет вам досуга служба ваша! Я, впрочем, при большей свободе не могу похватать большим. Начал писать вдруг три повести, но из них только одну подвинул страниц на 40 и бросил. Остальные две стоят еще на 10 или 15 страницах... Увы!

Занимает меня статистика здешнего края; собираю

---

<sup>16</sup> Очерк об Ирбитской ярмарке 1848 года был написан по результатам служебной командировки, но все попытки напечатать его не дали положительного результата. Позднее Вердеревский включил его в свою книгу «От Зауралья до Закавказья».

<sup>17</sup> Панаев И. И. (1812—1862) — редактор журнала «Современник».

<sup>18</sup> Краевский А. А. (1810—1889) — издатель журнала «Отечественные записки».

материалы и кое-что написал, но все это как-то *déçouçu* <sup>19</sup>... Не доволен.

5 мая 1848 года

...Хорошо вы сделали, что служите, и я, следуя доброму примеру, хотя, конечно, не покину отраднейших занятий моих, все-таки думаю и о служебной моей будущности.

Странное сближение: оба мы с вами начинали носить ливрею с серебряными пуговицами; и оба в одно время сменили ее на орлов Министерства внутренних дел. И еще страннее то, что совсем неожиданно один из нас должен прибегнуть к служебному значению другого, т. е. я к вам <sup>20</sup>. Не откажите, милостивец! Вот в чем дело: служба здесь с исключительной протекцией, я имею возможность сделать и занятия свои исключительными, конечно, не сидя с сложенными руками. Мне предоставили такой род трудов, который наиболее может удалить меня от каверз и грязи служебной. Я желал бы заниматься статистическими исследованиями по губернии, и мне даже обещано такое облагороженное служение. Для первого опыта и написал статью об Ирбитском торговом пункте, об Ирбитской ярмарке 1848 года. Статья эта пошлется на днях от губернатора в «Журнал Министерства внутренних дел» <sup>21</sup>.

Теперь нужно вам сказать, что здесь многие невзлюбили в скромном певце его некоторого превосходства, а главное, его протекций. Есть люди, которым очень горько будет, если мне, помимо прямых моих обязанностей чиновника особых поручений, состоя-

<sup>19</sup> Концы с концами не сходятся (фр.).

<sup>20</sup> Вердеревский говорит о зависимости писателя от цензора, чьи обязанности выполнял его друг.

<sup>21</sup> Статья эта не была послана.

щих обыкновенно в следственной части, дадут такую спокойную и легкую, по их мнению, обязанность. Из этого возможность интриги.

10 ноября 1848 года

...Вы просите меня собрать и доставить вам особенности пермского диалекта. Если бы я и взялся исполнить теперь вашу просьбу, то едва ли бы удовлетворил вас как следует; *primo*: потому что сам я еще весьма мало вслушался в язык пермяков, а *secundo*: потому, что вообще теперь я мало способен к чему-либо, кроме работы легкой, порывистой, лирической, — и приниматься за дело серьезное все откладываю до водворения в душе ровного и холодного спокойствия. Пока эта вещь невозможна, и, признаюсь вам, я тому радуюсь, быть может, оттого, что настроение лирическое для меня — новость, — и дорого и сладко мне, как память красных снов ребячества!

Касательно вашего поручения утешу вас тем, что есть здесь сбор слов, пословиц и загадок Пермского края, приготовленный в канцелярии губернатора к отправлению в статистическое отделение — уже не знаю, для чего. Я сделаю вам список и пришлю в непродолжительное время...

19 декабря 1848 года

...Находясь под впечатлением трех редких благ — досуга, довольства и любви, — я давно не брал в руки пера с другой целью, как разве приветствовать родных или друзей или поделиться с ними письменно сознанием моего счастья<sup>22</sup>. Редко, в минуты переполнения золотой чаши моей, душа настраивалась на старый лад и искала звуков и рифм. Такова сила привычки.

---

<sup>22</sup> Вердеревский в конце 1848 года женился и был очень счастлив.

...Сходите к Панаеву и скажите ему, что я готовлю для него ряд «уральских писем», куда войдут разнообразные заметки о здешнем любопытном крае<sup>23</sup>.

22 ноября 1849 года

...Что же касается до присылки Краевскому статей об Урале, то, к досаде моей невыразимой, до сих пор служба моя решительно не позволяет мне заняться чем-нибудь серьезным, требующим усидчивой работы более, чем три дня. Беспреданно в разъездах по нашим тысячеверстным уездам... Я отдаю теплым сердечным ощущениям домашнего очага все свои свободные минуты. Не дальше, как через несколько часов, еду за 360 верст в старую нашу Чердынь и Соль-Камскую, которых до сих пор я не видел. Поручение в этот край я взял от любопытства посмотреть историческую и исполненную колдунами и волшебниками сторону. Вы, может быть, не слышали еще, что я отец. Новый период, новые чувства испытываются и жадно приемлются.

9 января 1850 года

Незабвенный и милый Василий Матвеевич!

Хотя прием ваш рекомендованному мною уральскому жителю Д. Д. Смышляеву<sup>24</sup> был так столично-сух (по словам его), что он мог бы отбить охоту от последующих рекомендаций, однако надеюсь на дружбу вашу, а главное, на личные достоинства ныне рекомендуемого товарища моего по службе Николая Ивановича Солодовникова. Я уверен, что вы будете для него на столичной чужбине своим человеком и добрым цицероне в лабиринте петербургской жизни.

<sup>23</sup> «Письма с дороги» первоначально печатались в газете «Кавказ».

<sup>24</sup> Дмитрий Дмитриевич Смышляев — пермский общественный деятель, публицист и краевед, издатель «Пермских сборников» 1859—1860 гг.

Михаил Евграфович  
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
(1826—1889)

В октябре 1854 года сарапульский городничий Драйер донес вятскому губернатору Семенову об аресте «бродяги Ситникова», разыскивающегося по предписанию из Петербурга. Допрос Ситникова, именовавшего себя странником Ананием, и дальнейшие следствия по делу были поручены Салтыкову, отбывавшему ссылку в Вятке и служившему чиновником особых поручений при вятском губернаторе. Приехав в Сарапул в середине октября и проведя здесь около месяца, Салтыков пришел к выводу, что «дело» не представляло из себя ничего важного. Вернувшись в Вятку, он просил губернатора освободить его от этого поручения. Однако присланная из Петербурга бумага министра внутренних дел Бибикова решила вопрос не в пользу желания Салтыкова. Продолжение следствия было оставлено за ним, и дело это полностью поглотило последний год его вятской службы. Проверя показания Ситникова, раскрывавшего из тюрьмы все новые тайны раскольниковского мира, Салтыков побывал в течение декабря 1854 — февраля 1855 года во множестве мест Вятской и Пермской губерний, в том числе и самых глухих. Так в орбите его поездки оказались Пермь, Кудымкар, Ильинское, Усолье, Суксун, Оса, Ножовка и другие населенные пункты Прикамья.

Для Салтыкова итоги этого самого большого его служебного поручения были и отрицательными, и положительными. Собранные в процессе следствия обширные материалы представляли немалую ценность как источник для ознакомления с верованиями и бытом различных сект старообрядчества. Эти материалы, а еще в большей мере живые впечатления, полученные от поездок и встреч в глубинной народной России, нашли вскоре художественное отражение в возобновленной после ссылки писательской работе («Губернские очерки», «Смерть Пазухина», «Тихое пристанище» и др.). Но в судебно-следственном отношении добытые материалы мало что давали даже для николаевской адми-



нистрации. Выполнение высокого министерского поручения и энергия, на это потраченная, ничего в судьбе Салтыкова не изменили, как он на это надеялся.

### ИЗ ПИСЕМ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Д. Е. и А. Я. Салтыковым <sup>1</sup>

9 декабря 1854 года

С величайшим огорчением узнал я, любезный друг и брат, из письма маменьки о смерти сестры Любоч-

<sup>1</sup> Д. Е. — старший брат писателя Дмитрий Евграфович.  
А. Я. — Аделаида Яковлевна, жена Дмитрия Евграфовича.

ки<sup>2</sup>. Маменька спрашивает моего мнения насчет оценки, но я не советую ей принять на себя эту обязанность, которая, при делах и ее слабом здоровье, не может не быть тяжкою для нее. По мнению моему, можно было принять теперь же на полное попечение Олю, старшую дочь Любочки, и отдать ее в казенное заведение, так как она уже довольно подросла для этого. Впрочем, тебе и маменьке дело это ближе видно, а я, в отдаленье, едва ли могу с полным знанием дела судить о нем. Мне поручили весьма важное дело о раскольниках, и придется мне ездить много и далеко; поручение это очень лестно, потому что оно от министра, но и очень тяжело, потому что я должен буду шляться по лесам и рискую даже жизнью. Но бог милостив; в случае успеха, можно ожидать, что не оставят меня и без награды.

Поздравляю тебя и всех твоих с наступающими праздниками рождества Христова и Нового года. Где-то мне придется встретить их? Быть может, в лесах Чердынских! Как бы то ни было, конечно, помяну и об вас. Поздравляю тебя также с днем ангела сестрицы Адели; всем вам желаю полного и невозмутимого счастья и долгих дней. Я подаю просьбу в отпуск, но не знаю, не задержит ли меня порученное мне дело. Во всяком случае, попытка не беда. Прощай, любезный друг и брат; желаю тебе всего лучшего и прошу не забывать преданного тебе

М. Салтыкова.

---

<sup>2</sup> Любовь Евграфовна Зилова умерла 16 ноября 1854 года.

*Константин Михайлович*  
**СТАНЮКОВИЧ**  
(1843—1903)

21 апреля 1884 года по возвращении из кратковременной поездки за границу Станюкович был арестован за связь с русскими политическими эмигрантами (С. М. Степняком-Кравчинским, П. А. Кропоткиным, В. И. Засулич и др.) и публикацию в журнале «Дело» (Станюкович был издателем и редактором этого журнала) статей, авторами которых были деятели революционного движения. После годичного тюремного заключения в начале июня 1885 года писатель с семьей выехал в трехлетнюю административную ссылку в Томск. Путь его в Сибирь проходил через Пермь, где он провел несколько часов. Свои впечатления от этого вынужденного путешествия Станюкович описал в очерке «В дальние края», напечатанном в журнале «Русская мысль» за 1896 год.

**ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕВЫХ НАБРОСКОВ И КАРТИНОК  
«В ДАЛЬНИЕ КРАЯ»**

...На четвертый день пароход пришел в Пермь вместо раннего утра в первом часу дня, но это, впрочем, не смутило пассажиров, следующих далее, так как пассажирский поезд из Перми выходит по вечерам. Оставаться же целый день в этой бывшей столице золотопромышленников, горных инженеров дореформенного времени, где прежде было сосредоточено управление заводами и где теперь царствует мерзость запустения, с пустыми барскими хоромами, в виде памятников прежнего величия, не было никакой нужды.

Заглянув в этот мертвый город и не встретив в нем в пятом часу дня буквально ни души, мы вернулись

на вокзал, и в семь часов вечера поезд отошел в Екатеринбург. Из окон вагонов мы видели далекую синеву Уральских гор, перед нами мелькали знаменитые когда-то заводы, гремевшие в старое время баснословными пирами и баснословными беззакониями управителей, и незаметно перевалили хребет, очутившись географически в Азии. Я говорю «географически» потому, что близость Азии и азиатских нравов начала сказываться гораздо раньше географической границы.

К вечеру мы были в Екатеринбурге. Тут уже прекращаются всякие цивилизованные пути сообщения, и нам предстояло сделать триста верст по знаменитому... пермскому <Сибирскому> тракту.

### Из воспоминаний Е. Некрасовой<sup>1</sup>

С семьей же, а не один, выехал он весной 1885 года в Сибирь, на жительство в Томск.

Я случайно в это время была в Нижнем Новгороде и собиралась уже в Москву, когда от К. М. и его семьи в конторе «Пароходства Зевеке» получилась на мое имя телеграмма следующего содержания:

«Бога ради останьтесь в Нижнем сутки. Будем четверг 8 часов утра. Горим желанием обнять вас».

Разумеется, я осталась. И в назначенный час встретила на станции всю милую семью Станюковичей, т. е. многоуважаемую Любовь Николаевну, милую старшую дочь лет 15, Наташу, двух младших девочек и, наконец, самого младшего члена — двух- или трехлетнего Котика.

Вся семья, а главное — и самый виновник настоящего далекого путешествия К. М. — были так живы,

---

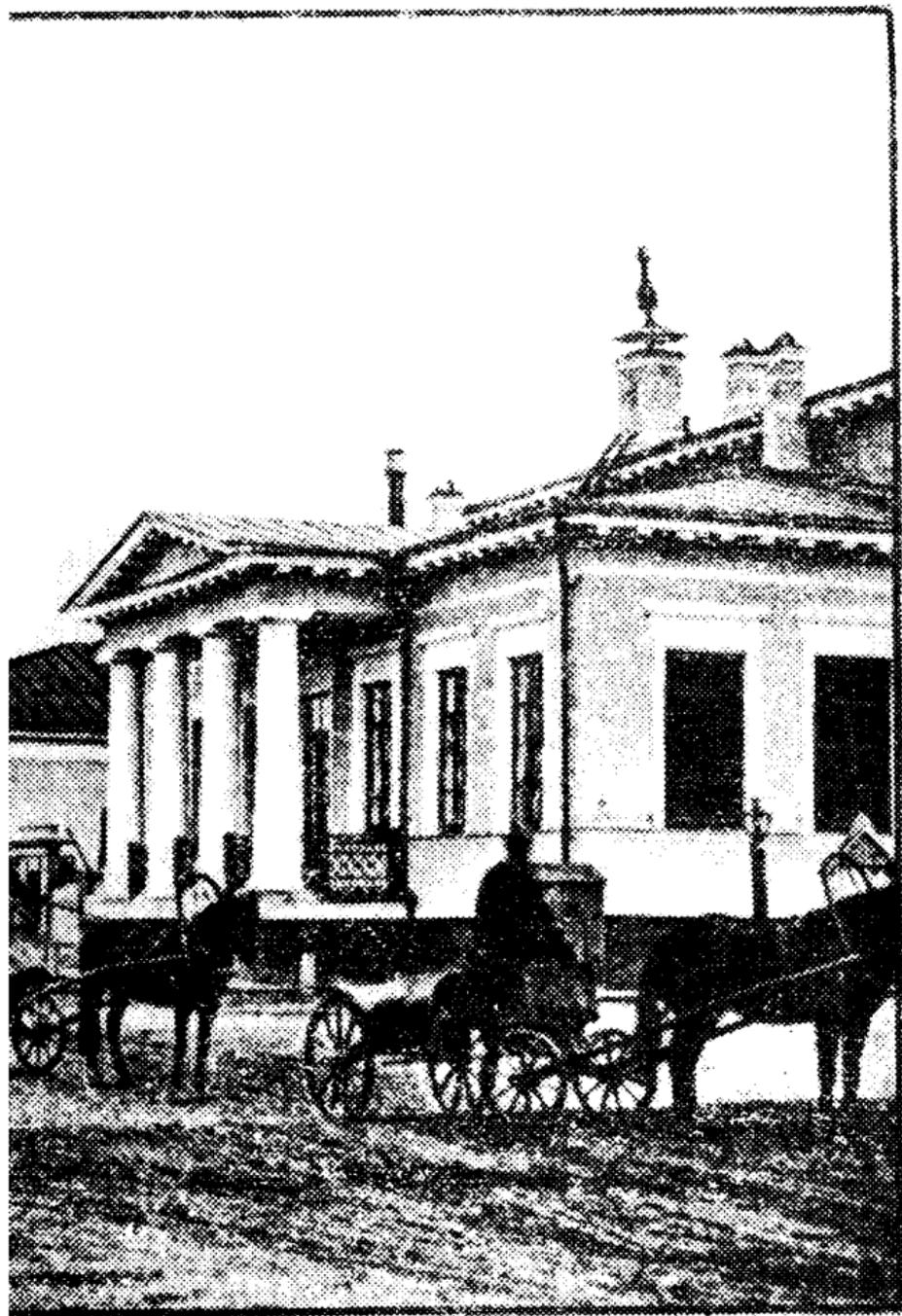
<sup>1</sup> Екатерина Степановна Некрасова — литературовед, друг семьи Станюковича.



бодры и веселы, так радостны, что, казалось, они все ехали на веселую прогулку, совершали недалекую *partie de plaisir*. Постороннему, наверно, и в голову не приходило при виде этого бодрого, молодого папаша, так изящно одетого, что видит перед собой ссыльного, отправляющегося с семьей на три года в далекую Сибирь. Правда, он ехал без провожатых, был отпущен на «честное слово», которое умел держать, не нарушая. Его бодрый, веселый, беззаботный вид вводил всех в заблуждение.

Не только в первую минуту встречи, а и во все последующие, которые мне пришлось провести вместе





*Клуб и гостиница Деорянского собрания на улице  
Вознесенской (ныне Луначарского)*

с ним и его семьей, плывя на пароходе Любимова «Кунгур» от Нижнего до Перми, куда К. М. и его семья уговорили меня сопровождать их и даже взяли мне на свой счет билет II класса, — я ни разу не слышала от К. М. не только жалобной фразы, но даже намека на то, что ему пришлось перенести за последний год, — чем обыкновенно многие рисуются; я не слыхала от него ни одного жалобного звука, ни насчет того, что ему предстояла впереди тяжелая ссылка, куда он ехал, не имея никакого обеспечения, запасшись только некоторыми редакционными авансами.

К. М. не жаловался и не грустил даже о том, что ссылка лишала его всех средств к жизни, оставив ему только голову и перо. Средств же требовалось очень много, хотя бы на одно 3-летнее прокормление всей многочисленной семьи, а ее нужно было, кроме того, еще воспитывать и учить.

На пароходе, на котором мы совершали путь до Перми, никто и не думал, что барин в синем, с кудрявой головой, сильно выделявшийся среди остальных сереньких пассажиров, есть ссыльный писатель, автор уже тогда всем известных «Писем знатного иностранца», которые печатались в «Деле» и за которые публика знала и любила Станюковича.

К. М. неохотно сидел в каюте, туда загонял его только пронзительный ветер и резкий холод, который почувствовался на палубе, когда пароход свернул с веселой Волги на мрачную, суровую Каму, когда веселая, яркая зелень волжских берегов сменилась темными еловыми лесами, покрытыми серыми, длинными лишайниками, словно бахромой. Но и вынужденный оставить палубу II класса, ничем не защищенную от ветра, он предпочитал ходить по незакрытой палубе III класса, так сильно переполненной переселенцами, что ему с трудом удавалось пробираться между их

скарба и тел, распростертых вповалку и заполнивших всю палубу. К. М. пользовался случаем — беседовал то с одним, то с другим переселенцем, о многом их расспрашивал. Особенно ему понравился один молодой красивый белорус в белом дерюжном кафтане, который давно перебрался из России в Сибирь, и настолько хорошо там устроился, что нынешний год ездил в Россию за женой. Этот белорус ужасно нахвалил Сибирь, и тамошнюю жизнь, и дешевизну, и тамошние порядки.

К. М. познакомился и со студентами, которые сидели со своим жиденьким багажом на лавочке той же палубы III класса. Студентов было двое: один из Московского университета, другой из Ярославского лицея. Первый был очень заинтересован и заинтригован «кудрявым папашей», и потому, как только К. М. заговорил с ним, студент, хоть и несмело, хоть и конфузясь, а не мог удержаться, чтобы не спросить:

— А вы кто же такой?

— Знатный иностранец, — ответил с улыбкой «кудрявый папаша».

Студент был медик, но тем не менее, оказалось, хорошо знал «Письма знатного иностранца». Он не скрыл своей радости при встрече с известным и любимым писателем, поспешил познакомиться и с его семьей. К. М. пригласил студента быть у них в Томске, когда он будет возвращаться с летних каникул в Москву из Енисейска.

К. М. был человек очень общительный. Прежде чем доехать до Перми, он уже был знаком со всеми интеллигентными и неинтеллигентными пассажирами парохода. В дурную погоду он не раз сиживал в рубке I класса, куда сходились играть с ним в карты капитан парохода и какой-то пассажир из богатых си-

бирских купцов. К. М., как некогда бывший моряк, очень любил играть в карты, и всегда на деньги.

Обедать же он спускался в свою семейную каюту, где мы все сходились вокруг большого стола и где К. М. нас всех усиленно закармливал. Тут я еще больше убедилась, какой это любящий и внимательный отец: он каждую дочь и даже маленького сына спрашивал в отдельности, что каждый из них любит, чего хочет, и для каждого заказывал отдельные блюда. Так, например, одна дочь заявляла, что хочет жареного мяса, другая, что желает рябчика и т. д. И сейчас же как то, так и другое подавалось на стол. Вкусы всех сходились, кажется, только в одном — в любви к сардинкам. Тотчас же явилась на стол такая большая коробка сардинок, что съесть ее всю за один раз не было никакой возможности. Недоеденные рыбки вместе с коробкой К. М. тут же выкидывал через маленькое окошечко каюты в темную воду Камы...

...К. М. всю дорогу вел себя бодро и весело, ни разу не изменив своего настроения. В таком расположении духа был он, когда я распростилась с ними в Перми, когда они все с любимовского парохода пересели в III класс железной дороги, увозившей их в Екатеринбург. Жаль было расставаться с ними и со всем семейством так надолго! Жаль было отпускать их в далекую, нерадостную Сибирь!.. Должно быть, для того, чтобы смягчить горечь разлуки, К. М., Любовь Н. поднесли мне на прощание прелестный букет из розового левкоя и чудных белых роз. Букет был восхитительный: не знаю, где, а главное, когда они успели его достать. Я потом долго хранила эти засохшие цветы — они напоминали мне об этой поездке и о поразительной бодрости К. М. и всей его семьи.

Федор Михайлович  
ДОСТОЕВСКИЙ  
(1821—1881)

Ф. М. Достоевский как активный член кружка М. В. Петрашевского («один из важнейших среди петрашевцев», по мнению жандармов) за чтение на собрании кружка знаменитого письма Белинского Гоголю был отправлен на каторгу в Сибирь.

Путь его, как и всех сосланных в Сибирь, проходил через Пермь. С дороги он отправлял письма родным и друзьям, делился с ними своими чувствами и впечатлениями от бесконечного, длинного пути. Есть в этих письмах впечатления и от Урала, который он проезжал по пути в Сибирь в январе 1850 года и после освобождения — в июле 1859 года.

ИЗ ПИСЕМ ДОСТОЕВСКОГО

М. М Достоевскому

30 января — 22 февраля 1854 года<sup>1</sup>

...Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня, нас повели (троих) — Дурова, Ястржембовского и меня — заковывать. Ровно в 12 часов, то есть ровно в рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10 и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было

---

<sup>1</sup> Находясь на каторге, Достоевский не имел права вести переписку. Первое письмо брату он послал после того, как закончился срок его каторги.

тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности.

...Нас везли пустырем, по Петербургской, Новгородской, Ярославской и т. д. Городишки редкие, неважные. Но мы выехали в праздничную пору, и потому везде было что есть и пить. Мы мерзли ужасно. Одеты мы были тепло, но просидеть, например, часов 10, не выходя из кибитки, и сделать 5, 6 станков<sup>2</sup> было почти невыносимо. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться в теплых комнатах: Но чудно: дорога поправила меня совершенно. В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошедшее — грустно было, и меня прошибли слезы. По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога.

---

<sup>2</sup> Ст а н о к — местное сибирское название станций, где меняют лошадей.

А. И. Гейбовичу<sup>3</sup>

23 октября 1859 года

Добрейший и незабвенный друг наш, благороднейший Артемий Иванович! Не стану перед Вами оправдываться в долгом молчании, но если перед Вами виноват, то, клянусь, без вины!.. Правда, написать письмо можно было и раньше, но дела мои до того не устраивались, что едва лишь соберусь писать, как тотчас же падает на нос какое-нибудь головоломное дело: бегай, советуйся, проси и отписывайся. Впрочем, так не расскажешь; лучше опишу Вам все наше странствие с самого 2 июля, и по рассказу сами увидите, чем я так особенно был занят и что именно меня тревожило... Пропускаю очень много из наблюдений и впечатлений дорожных. Погода стояла преблагодатная почти все время путешествия, тарантас не ломался (ни разу!), в лошадях задержки не было, но дороговизна, но цены на станциях — боже упаси! Спросишь кусок чего-нибудь, спросишь цену — и глядишь ему потом в глаза даже со страхом: не сумасшедший ли это какой! Нигде на свете нет таких цен! Зато вознаграждала природа. Великолепные леса пермские и потом вятские — совершенство. Но в Перми уже мало замечаешь пустырей по дорогам: все запахано, все обработано, все ценится. Так, по крайней мере, мне показалось... В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрали наконец на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями, и при нем в

---

<sup>3</sup> А. И. Гейбович — ротный командир седьмого линейного батальона в Семипалатинске, в котором прапорщиком служил Достоевский.

избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел наконец господь увидеть обетованную землю. Затем вынулась Ваша плетеная фляжка, наполненная горькой померанцевой (завода Штритера), и мы выпили с инвалидом на прощание с Азией, выпил и Николаев<sup>4</sup>, и ямщик (и уж как же вез потом). Поговорили и пошли гулять в лесу, собирать землянику. Набрали порядочно.

---

<sup>4</sup> Н и к о л а е в — почтальон.

Михаил Ларионович

МИХАЙЛОВ

(1829—1865)

Соратник Н. Г. Чернышевского, поэт некрасовской школы, Михайлов за революционную прокламацию «К молодому поколению» 14 сентября 1861 года был арестован и заточен в Петропавловскую крепость. Автором прокламации был Н. В. Шелгунов. Михайлов отпечатал ее в Лондоне в типографии Герцена, в чемодане с двойным дном привез шестьсот экземпляров в Петербург и распространил по городу. На суде Михайлов всю вину взял на себя и после унижительной процедуры гражданской казни на площади Сытного рынка в Петербурге был отправлен на каторгу в Нерчинск.

Обритого по-арестантски, закованного в кандалы, везли его по Сибирскому тракту через Пермь, где Михайлов ночевал. Приехав к месту назначения, он подробно описал это трудное и длительное путешествие в своих «Записках».

#### ИЗ «ЗАПИСОК» М. Л. МИХАЙЛОВА <sup>1</sup>

...Я был уже сильно истомлен дорогой, потому что нигде не отдыхал; но мне хотелось сделать хоть половину пути, который казался мне бесконечным. Спутники мои мне надоели и опротивели; в голове была какая-то путаница от неизвестности того, что меня ожидает; на сердце горько и одиноко, сны виделись все о свободе, да о бегстве, да о вас, — а иногда и такие, что я просыпался от испуга. С самого отъезда из Петербурга и до Тобольска я вообще был словно растерянный какой и не мог ничего сообразить хорошенько, и все как будто что-то щемило мне сердце.

---

<sup>1</sup> «Записки» Михайлова адресованы Л. П. Шелгуновой и содержат частные обращения к ней.



Спать приходилось сидя, и это еще более утомляло меня. Протянуть ноги — значило только подвергнуть их холоду. И так они у меня беспрестанно зябли, несмотря на толстые и теплые сапоги. Как ни старался я укрывать свои кандалы, они быстро холодели; холодели и кольца, которые, как когти, охватывали мне ноги, и ноги начинали ныть и тосковать.

Но мне хотелось ехать скорее, чтобы скорее добраться до места. Я лишь ненадолго остановился в Вятке, чтобы пообедать да написать письмо, которое ты и получила. Хозяйка дома, в котором помещалась почта, видя, как я изнеможен, упрашивала меня ос-

таться ночевать, а на ночь сходить попариться в баню. О бане, разумеется, нечего было и думать, потому что я не мог бы снять с себя брюк при узких кольцах кандалов; но и ночевать, несмотря на явное желание и моих провожатых отдохнуть немного, я не хотел остаться. «Доеду хоть до Перми и там отдохну. Все-таки хоть половина первой части дороги будет позади», — думал я и так и сделал.

Утро рождества встретили мы в только что отстроенной, сырой и холодной станционной избе. Горница была очень большая; везде от стен дуло; из окон — тоже. Одиночные рамы в окнах дрожали и скрипели от жестокого ветра, который выл, как бешеный, около одиноко стоящего дома. Это был праздник только для Каменева<sup>2</sup>. Он мог разговеться и перестать завидовать мне, что я пью чай с молоком, когда случалось найти молоко. В горнице ярко топились большая печь, и мы оттащили стол из переднего угла к ней и тут напильсь чаю; с одного боку подпекала нас печка, а с другого обдувал ветер так, что пламя свечи на столе колебалось и сало оплывало. Было еще темно.

В ночь этого же дня добрались мы наконец до Перми. Мы приехали туда часу во втором. Отдохнуть было уже решительно необходимо: у меня ломило спину и все кости; ноги были, как онемевшие. Дорога становилась все хуже и хуже — то ухабы, то снег по колена, то снег сдуло с дороги. В иных местах так было выбито, что я ехал с постоянно замирающим сердцем: вот сейчас ухаб! И каждый толчок экипажа отдавался резкой болью у меня в голове.

Во втором этаже пермского почтового дома было

---

<sup>2</sup> Каменев — жандарм, сопровождавший на каторгу М. Л. Михайлова от Петербурга до Тобольска.

нечто вроде гостиницы — три-четыре просторных комнаты с узкими диванами по стенам и с голыми кроватями. Побоявшись клопов, я улегся на диване и проспал ночь как убитый, несмотря на скованные ноги. Утром я чувствовал какое-то дрожание во всем теле, вероятно, застоявшаяся кровь расходилась, хотел было написать к тебе письмо, но у меня было какое-то оупение в голове и руки дрожали, как у горького пьяницы. Мне почему-то думалось, что я получу здесь какую-нибудь весточку от вас. Спросил, не справлялись ли обо мне до моего приезда, — нет. Утром увидел я: идет казак. Действительно, он справлялся, кто приезжие; но собственно мною никто не интересовался, значит, письма ко мне не было. Зашел на несколько минут бывший студент Петербургского университета, поляк, остановившийся тут же, рядом со мной. Он уехал из Петербурга до волнений в университете на службу сюда. Мне не понравился он, и самую фамилию его я забыл.

Из окон моей комнаты виднелась огромная пустынная площадь, вся покрытая снегом. Праздничный звон гудел, наводя еще более тоску, и я торопил жандармов ехать.

Во всю почти дорогу от Вятки, чуть не на каждой станции, приходилось слышать:

— Вот недавно из Варшавы двух провезли.

Или:

— Третьего дня ксендз проехал из Варшавы с жандармами.

В Кунгуре, где я был вечером в тот день, мне сказали, что тут провезли, одного вслед за другим, шесть ксендзов.

Тут меня еще более напугали дорогой. Отсюда-то только и начинаются ухабы.

# Людмила Петровна ШЕЛГУНОВА (1832—1901)

Уроженка Перми, известная переводчица, автор литературных воспоминаний «Из далекого прошлого», общественная деятельница 60-х годов, Л. П. Шелгунова вместе со своим мужем Н. В. Шелгуновым в 1862 году предприняла поездку в Сибирь, чтобы устроить побег М. Л. Михайлову, но они были арестованы на Казаковском прииске, где содержался Михайлов.

Мать Шелгуновой, Евгения Егоровна Михаэлис, под влиянием сосланных в Пермь А. И. Герцена и сменившего его И. А. Оболенского, стала много читать и даже писать. В 1840 году в журнале «Сын отечества» была опубликована ее повесть «Разочарование» под псевдонимом Каминова.

## ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

[Отрывки из воспоминаний Л. П. Шелгуновой]

Все воспоминания раннего детства представляются мне в виде отдельных картин. Так, дом наш в Перми, где я родилась и пробыла до трех лет, рисуется мне отдельною картиною. Я помню гостиную только потому, что по вечерам, подсев к окну, я смотрела на темную, неосвещенную улицу, и мне представлялось, что посреди нее идут волки. Затем в памяти осталась дорога в виде тарантаса, где нас сидело очень много...

...Мать моя была очень умная женщина. В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским заставило ее много заниматься и читать, и она была действительно передовой женщиной, до семидесяти лет сохранившей свежесть взглядов и сочувствие всему молодому. Как-то Тургенев говорил мне,



что он не понимает молодости, но уверен, что она права; так и мать моя не всегда понимала молодежь, но всегда оправдывала ее.

...Из Перми нас с матерью привез отец, служивший там советником губернского правления, и сам уехал обратно.

*Федор Михайлович*  
**РЕШЕТНИКОВ**  
(1841—1871)

Уроженец Екатеринбурга (Свердловска), Решетников детство и юность провел в Перми. Рано осиротев, он воспитывался в доме дяди, старшего сортировщика пермской почтовой конторы. В 1855 году «за вынос из почтовой конторы пост-пакетов с бумагой» был осужден и сослан на три месяца в Соликамский монастырь на покаяние. В 1859 году окончил Пермское уездное училище и определился на службу в штат Екатеринбургского уездного суда, но в 1861 году добился перевода на службу в Пермскую казенную палату на должность регистратора.

В августе 1863 года переехал в Петербург.

**ОТРЫВКИ**  
**ИЗ ДНЕВНИКА РЕШЕТНИКОВА**

Декабрь 1856 — январь 1857 года

...Когда я жил в Перми, я имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре, но в Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота...

Январь — февраль 1857 года

...Жизнь моя стремилась к истинному познанию, чтобы быть истинным христианином, но ожидания мои не исполнились; я ходил каждый день в монастырь и смотрел на их образ жизни, и все они, кроме (...) не похожи на монахов (...) и делают разные непристойности...

— Есть у тебя чем опохмелиться?

— На вот, я уже выпил все.

— Неужели ты в ночь выпил ведро пива?

— Да у меня вчера был дьякон, и мы с ним погуляли славно.

— Ай да славно, проклятые, вы пируете, нет, чтобы мне оставить.

13 февраля — март 1857 года

13 числа 1857 года был на похоронах у станового пристава первого стана, у которого умерла мать Мария. Казначей позвал меня, чтобы я держал ризы, а Ивану не велел ездить, и я простоял обедню. По окончании литургии протоиерей К-ов сказывал проповедь, похваляя жизнь новопреставленной усопшей Марии...

С кладбища мы, т. е. я и (...), возвратившись в квартиру станового, сели за одним столом. Подчевали меня и «ерофеичем», и простой водкой. Тут еще В. прятал вино простое под стол, а И. почти один выпил графин «ерофеичу» и уж пьян очень был, и они с М. кричали всю дорогу.

Март — апрель 1857 года

...И так я чудно и весело проводил время с монахами; они меня поили пивом, а я часто приходил домой пьяным. Да и все меня любили сердечно, и я тоже питал свою любовь к ним. Иногда обедал и спал в кельях... Словом, очень весело я провел время с доброю братиею и в особенности тогда, когда пили пиво...

...Но видит бог, что я, во время жития моего, хоть бы одну каплю вина выпил...

...Мрачно и печально, что я разлучаюсь с моими друзьями, истинными христианами. Но что делать, дядя мой единокровный хочет этого. Но я еще



когда-нибудь могу поступить в монастырь, и мне хочется кончить жизнь там, где живут только мирно.

...В среду я простился с (...) и в 11 часов отправился из Соликамска. И тут, поравнявшись с монастырем, невольно слеза выкатилась у меня, (когда я вспомнил) что я разлучаюсь навеки с монастырем сим и его доброй братией... И вот последний взгляд на этот монастырь, и наконец показались только крестики и потом совсем из виду потерялись...

...Я не могу взять в пример женщин и не могу соблазняться примером их. Бог знает, что я имею усердие к его великой церкви и в век буду стремиться

к его церкви, и будет время, когда я уйду в монастырь, в уединение, и там буду молиться небесной невесте пресвятой богородице и приснодеве Марии...

...Здесь я видел все неприятное. Опять тетка ругает меня, и бог знает, за что она меня ненавидит, рассказывает дяде то и сё, и тот ей верит, ругает и проклинает, и при сих-то горьких счастьях я дома все молчал... я занимался богомыслием и терпел... когда уж чуть-чуть слеза не выпала из глаз. Когда-либо тетке скажешь слово, она говорит: «Что ты на меня кричишь?» и ругается, что я неладно говорю и не могу ей лучше говорить. Как же тут не молчать, ежели я говорю неладно? Но ежели же молчать, то она ругается, что я молчу, и вот какое положение мое! Да еще не дает учить мои уроки: «делай то и другое», — и потом ругается. Кто ни придет к ней, всякому наговаривает на меня, что я не говорю с ней или не делаю ничего. Но ежели кто вообразил и был бы на моем месте, то узнал бы и поверил, в чем дело состоит, но они верят ее словам и думают, что это правда. Бог с ними, а пока у меня есть силы и возможность, буду терпеть и в молчании призывать моего господа и просить его милости, ибо к кому нам, грешным, прибегать, как не к нему. Боже, спаси меня ныне и даждь терпение мне во дни скорби моей, да не погибнет душа моя до конца; спаси мя и тетку и обидящих мя, спаси и помилуй и вечной их обители сотвори, помилуй по милости твоей, яко же помиловал праотец Адама и Еву, да к тебе всегда вопием: «помилуй нас, господи, владыко наш, и благодетелю, и тебе славу воссылаем во веки... Аминь...»

...Но вот случилось в жизни моей происшествие. Не только в новейшее время, но даже и в древние времена, по заведению иностранцев, открыто и у нас, в России, играть в карты. Этим основывается наша

публика господ. В этом кругу был и дядя мой, и он иногда для увеселения скуки занимался сим увеселением. Тетка очень не любила это. Странно очень то, что тетка, лишь муж ее не будет дома, скучает и не спит, хоть он приди в восемь часов утра. Когда же он придет, она начинает его ругать, зачем он играл в карты... Кому такие выговоры, **особенно от женщин**, понравятся? Подумать надобно, сколько тяжело сносить тому укоризны, кто своим трудом кормит все семейство. Не один мой дядя играет (он не играет, но еще учится), но и все почтальоны и проч. **Что же учить женам мужей**, которые вполне по своему образованию, частию от наставников, частию от публики, могут дать тысячи наставлений и полезных предметов своей жене... Но она улестила его, и он помиловал еще ее. Я, взирая на жизнь их, жалел их обоих и укреплялся на молитвы, которые, может быть, помогут мне и ихнему прощению в грехах (Смотри сочиненную мною молитву!...

Кроме того, печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мною; все наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно в наших летах. Но бог милостив еще к нам. Даже К. уже прилепился к сетям дьявола. О, сколь ныне свет развратился! Даже младенцы, недавно выступившие в свет божий, и те хулят имя господне и не страшатся суда всевышнего...

1859 год

...Не могу вспомнить, в каком положении я находился. Ужасная скорбь и скука находили на меня каждый день. Мысль, что я лишился любимого мне города, может быть, навсегда, ужасно давила мне сердце. Всё любимое исчезло из моей памяти. Новый, чуждый город, новые лица, вещи, служба, которую

я не любил с самого детства, — все это сделало Екатеринбург для меня отвратительным...

Начало мая 1861 года

...Целый час я дожидался, пока отворят двери, и целый час ходил от одних дверей к другим, прося лакея отворить двери к его высочородию, но лакей говорил: «Подождите!» Везде эта дьявольская фамильярность лакеев; чуть если видят — человек не виновный, то и думают: «Черт тебя бей! Не великая ты штука, подождешь, а мне все-таки любо смотреть, как я себя тешу, как ты поклонисься мне!» А ты стоишь да думаешь: «Ишь ты, как заважничался, собака этакой!» Но что ни говори сам с собой, а все-таки ждешь да ждешь и, наконец, думаешь: «Пожалуй, придется воротиться назад, домой!» Однако досадно... Лакей не пускает, а барин забился в кабинет, бреется, поди, еще или пьет чай, как наш губернатор, — целый час один стакан. Вот мука!

20 мая 1861 года

С рассветом мне представилось двадцатое число. Сегодняшний день был последним днем моего отпуска. Я ужаснулся и тому, что я еще в Перми и никуда не определился. А, между тем, сколько было трудов и хлопот об этом переводе. В Екатеринбурге я надеялся на отпуск, как на отдохновение... Но здесь пришлось не до отдыха (...) постоянные заботы, ходьба к знаменитым лицам (надежда моих мыслей), отказы этих лиц со всеми неприятностями к моей личности и, наконец, — бедственная известность о моей прежней подсудности, спавшей четыре года и проснувшейся вдруг, при моей просьбе о переводе, подсудность теперь вполне известная в Екатеринбурге, — все это ужасно сравнительно со всеми неприятностями

ми службы в суде, где если и слышали о моей подсудности, но не верили. Это воспоминание надолго будет в моей голове, и надолго я должен стыдиться как товарищей моих по училищу, служащих в губернском правлении, так и товарищей по службе в уездном суде.

Но срок кончился, и мне надо ехать обратно или подавать просьбу в казенную палату. Что если Екатеринбургский (суд) за просрочку поступит со мной по закону из недоброжелательности ко мне?

Май 1861 года

...Один раз прибежал к нам в правление Г-н, эта шельма в белых брюках и жилете, как дьявол<sup>1</sup>. Секретаря не было. Забежал в присутствие с докладной запиской и кричит: «Вот какие люди к нам просятся! Где секретарь? Пусть он выведет на справку его подсудность». И вывели подсудность без всяких постановлений!

Май 1861 года

...Поэзия моя будто бы только вредит... Не знаю? Но если я пишу, то чувствую отраду... Я тогда спокоен и весел... Я пишу, не надеясь на барыши... Когда я умру, то пусть меня читают, судят, ругают... Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий поймет меня и мою жизнь, которую я испытал во всех видах... Что же делать, если я необразован, неотесан, груб, невежа, забияка! Но что же делать, если неправда у нас ввелась уже в форму, люди сделались гордыми, своенравными... Остается только плакать, молиться о них не будет никакой пользы...

---

<sup>1</sup> Фамилию этого лица установить не удалось.

17 марта 1861 года

По истине это правда (...), и подобные сочинения могут хоть какого отца огорчить и опечалить! Дурак Столярёв!<sup>2</sup> Пусть это имя клеймит его! Это письмо так поразило меня, что я весь день был в каком-то горе и печали... Даже у обедни, где служил архиерей, мысли мои блуждали по сторонам «Черного озера», готовили письмо-оправдание дяде, рисовали образы бедных, любимых мною тятеньки и маменьки! (О, как я их люблю! Скучно без них.) В этой катастрофе я часто забывал о службе, и только громкое и хорошее пение здешних певчих выводило меня из этого хаоса моих мыслей...

10 июня 1861 года

Слава богу, я определился. 9-го числа об определении моем записали в книгу, касающуюся до службы канцелярских служителей казенной палаты, и вчера просмотрел прокурор. Наконец мои многолетние желания исполнились, и я, с помощью божиею, определен в казенную палату по канцелярии... Один только бог был моим ходатаем. Ходатаем потому, что заступничеством его я, несмотря на все несчастья со мной, сколько враги мои ни старались не дать мне ходу по службе и самый доступ к лицам палаты, он руководил теперешним моим переводом, вразумляя их о моем принятии. Эту руку милосердия его я признаю... Благодарю его своей ничтожной верой в него и верую, с надеждой на будущее его покровительство, что все это он делает к лучшему. Я восторгаюсь его благодеяниями и плачу от восторга, от тесноты чувств, вспоминая его ко мне милости.

---

<sup>2</sup> Столярёв Илья Иванович — товарищ Решетникова по службе в Екатеринбургском уездном суде.

Июнь 1861 года

Меня посадили в регистратуру. Вся моя работа, не умственная, а машинная, состоит в записывании входящих бумаг, надписках на конвертах, отправляемых из палаты, и печатании их. Эта работа обременительна одному и при получении пяти или шести рублей жалования кажется вдвойне обременительной. Для ума же нет никакой пищи.

...За июнь месяц я получил 5 рублей серебром. Это неутешительно. Худо то, что работа машинная и не требует никакого ума...

Июнь-июль 1861 года

В палате мы сидим до 4-го часу и выходим только тогда, когда выходит председатель. Придешь домой; разумеется, после шестичасового сидения устанешь, и как отобедаешь, невольно клонит тебя ко сну... Ляжешь и пробудишься часу в 6-ом. Тут чай, и опять тягость... Сядешь у окна и думаешь — что бы сделать? Писать. И лишь станешь обдумывать, явится дедушка<sup>3</sup>, начнет рассказ, или супруга его заведет с ним какую-нибудь сцену, невольно принужден будешь слушать, и прослушаешь до 10-го часу, а там темнота. Надо заметить, что если дедушка начнет рассказывать, то вступлениям нет конца. Скучно слушать иной его рассказ, но должно слушать, не огорчая старика... Старик этот великодушен и таких милых характеров редко где можно найти. Со мною он добр до бесконечности, что видно из его ко мне расположения и ласк. Не знаю, что он чувствует внутренне, я (со своей стороны) всегда могу сказать ему: «О, добрый дедушка! Лучше тебя я еще не находил людей!» Только одно

---

<sup>3</sup> Максим Васильевич Антропов — дальний родственник Решетникова.

мне неприятно, что он смеется над моими сочинениями и **советует их бросить совсем**. По его понятиям, я непременно должен сойти с ума. Я ложусь спать в 12 часов, а до этого времени хожу в нашем садике. Несмотря на тесноту, я вечером хожу из угла в угол по маленькой тропинке, сделанной мною, или сижу... на железном ведре... Любя уединения, я доволен и этой скучной простой природой... В уединении душа настраивается, сердце бьется сильнее... самому кажется легче и свободнее, и в этой тишине, прерываемой разговорами соседей или бранью, ум работает и углубляется в беспредельное высшее, и во всем этом не чувствуешь утомления; когда же очнешься от этих фантазий, то чувствуешь силу **сверхъестественную, силу... поэзии**, и тут непременно подумаешь, зачем не имеешь тех средств, которыми бы можно было жить, сводя концы с концами; теперь же, получая жалованья шесть рублей, едва находишь в ящике какие-нибудь несколько копеек... А что подумать о платье, о будущем? «Дрянь ты, как есть, и живешь не лучше нищего!..» Невольно приходит мысль, зачем я способен... и зачем в голову идут идеи и не дают покою... Все-таки у меня надежда на бога. Пусть он делает, как знает и как его святой воле нужно... Утром в 5 часов я опять хожу по палисаднику, хотя есть одна неприятность — это роса, от которой мочатся сапоги и халат, но зато я хожу собственно уже для своего здоровья... Так и идет время... Если не слушаю рассказов дедушки, когда он молчалив и грустен, то читаю книги, книжонки и «Московские ведомости», полученные недели три тому назад... От скуки ради заняться чем-нибудь.

...Милый мне в Екатеринбурге губернский город стал теперь постылым...

...Думал было ехать в Екатеринбург, чтобы нагля-

даться на него, порыбачить. Но меня не пустили из канцелярии...

Июнь-июль 1861 года

(«Приговор» он отдает на суд сослуживцу М.<sup>4</sup>), который очень дружен со мной, заметно любит меня, зовет постоянно курить и непременно что-нибудь расскажет о своей прошлой жизни или палатской службе. Вот почему я и решился отдать ему прочитать «Приговор»... М. похвалил поэму, сказал, что она ему понравилась, но «надо убавить, много лишнего».

...Напишу И. К. П., объясню ему свое положение и попрошу его прочитать мое сочинение и сделать на него строгую критику, а более всего сказать: могу ли я сочинять прозой или стихами.

...Слава богу, я получил от П. письмо; теперь остается только отдать ему мои сочинения»...

...П-в сказал, что «Деловых людей» прочитал и собирается написать рецензию, но всегда некогда... Написано, говорит, порядочно, и высказывал свои заметки... Советует ее положить пока для того, чтобы созрели мысли, и продолжать свое образование, пописывая что-нибудь... Советует писать лучше прозой... Впрочем, говорит, написано не дурно, а все-таки надо продолжать свое образование. Советует написать какую-нибудь статейку и послать в редакцию.

«Слава богу! — думал я, — один человек подал мне добрый совет в мою пользу. Теперь покажу ему другое сочинение, хоть «Приговор».

Август 1861 года

Каюсь, что отдал ему<sup>5</sup> мое сочинение «Деловые люди». Цель моя была та, что, во-первых, он обещался

<sup>4</sup> Лиц, обозначенных буквами «М» и «И. К. П.», установить не удалось.

<sup>5</sup> А. А. Толмачеву, председателю Пермской казенной палаты.

убавить жалованье, во-вторых, он как умный человек, быть может, обратит на меня внимание и подаст благой совет. Поэтому я написал ему письмо, похвалил его за библиотеку как за благотворительную меру для служащих, выставил свое бедное положение, просил прочитать мои сочинения, из которых одно принес с собой, и, если можно, прибавить мне жалованья. К этому же меня понудило и то, что я собираюсь искать другую квартиру. 12 числа дедушка, бывши выгивши и наскучив видеть, как я пишу сочинения, велел мне искать другую квартиру. 14 числа я был у председателя и ждал его целых два часа. Он ходил на дворе, играл с собаками и смотрел в амбаре свои вещи, которые он продает, надеясь скоро уехать. Увидав меня, он спросил, что мне нужно. Я подал ему свое письмо. Он прочитал и сказал: «Мне, батюшка, некогда читать, я собираюсь в церковь и вам советую тоже идти. Ступайте», — и он поворотил меня. Я повторил ему свою просьбу на словах... «Мне некогда читать, — сказал он опять. — Я лучше вам советую заниматься, чем сочинять. Занимались бы больше в палате».

...В назначенный день я снова явился к Толмачеву...

— Мне некогда... — ответил председатель. — Вы видите, я занимаюсь? Ступайте к обедне... Я сам принесу. — И не велел приходить.

Дурак же я, что отдал ему мое сочинение... Теперь он не только будет смеяться надо мной, но еще не обратит никакого внимания на мое бедственное положение. Пожалуй, еще и за этот месяц даст только 5 рублей.

...Возвращая через несколько дней комедию, Толмачев сказал: «Вы какие-то кляузы написали... тут какая-то женщина учит мужа... Вам надо выбрать одно из двух: или сочинять, или служить».

Ужасно тяжело мне было в этот день. Сцена в

палате мне и вечером почти не давала покоя. То слышались слова председателя: «кляузы», то недоверчивость служащих... Все вышло дрянь! Все говорят, что я глупец и больше ничего, да еще хочу выиграть перед начальством... Ах, если бы деньги! Бросил бы я эту службу и все эти связи с служащим миром!

5 сентября 1861 года

Сегодня, 5 сентября 1861 года, я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений... Кроме горя, ничего не было. Дай бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них дельному, не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами, а жить, веря в провидение, и так, как бог велит.

Осень 1861 года

...Служба становится трудная, сижу в палате до 4-х часов, обедаю почти в шестом да еще дома занимаюсь палатскими делами. А все за 7 рублей. Дядя Алалыкин<sup>6</sup> писал мне: «Что за философия, что жалованья мало, я и женатый получал по 3 рубля да жил же как-то». Поживи-ко ныне, попробуй! Впрочем, я доволен тем, что из 7 рублей у меня остается два с половиной рубля в месяц. Зато я не ем уже ничего мясного...

В сочинении «Два барина» Трейеров<sup>7</sup> не нашел

<sup>6</sup> Алалыкин Петр Алексеевич служил почтмейстером в Соликамске. У него на квартире жил Ф. М. Решетников.

<sup>7</sup> Трейеров Василий Афиногенович — протоколист казенной палаты, сочувственно относившийся к литературным опытам Решетникова.

ничего хорошего. Разбирая каждое слово, он говорил: «Вот тут нет стиха. Здесь непонятно... Нельзя понять, что такое **два барина**. Да и сочинение написано не стихами, а только под рифму... Одним словом, он высказал много ума. Говорил о Лермонтове, Пушкине... а мое сочинение для печати не годится!.. О драматических сочинениях он сказал, что я еще не могу писать драмы, тем более стихами, каких никто еще у нас в России не писал... Советовал на первый раз написать небольшую повесть или рассказ... Советовал написать пока статью о библиотеке в казенной палате... Из его слов я замечал, что сочинения мои — дрянь, одно увлечение, без всякой цели... Не бросить ли их? Нет, я буду писать... Ах, если бы деньги! Бросил бы я службу...

...Драму «Панич» он не читал: «Тут много написано, не хочется. Да вы оставьте их. Вы не можете писать драмы...»

Осень 1861 года

Трейеров прав: «Два барина» — дрянь. Они давно мне самому такими казались. Еще когда писал, то думал бросить... Однако попытаюсь послать, есть же и незанимательные стихотворения. Да! стихотворения, стихи — а у меня-то что? Все говорят: не стихи и не проза... Что же такое? Господи боже мой! Как плохо быть бедному человеку со способностями! Опять: «со способностями». А кто знает, есть ли во мне способности? Может быть, это бред, глупости, как говорит мой дядя... О, если это скажет мне один из будущих моих редакторов и рецензентов, — я брошу все и уйду... Буду жить в одной любви к всеблагому отцу моему и творцу.

Февраль — начало марта  
1862 года

«Раскольника» я кончил. «Стихосложение» Перевлесского<sup>8</sup> мне много помогло, без него я решительно не мог писать стихов... но все-таки они не стихи... Мне надо свободу! Мне надо запереться для сочинений... Материала у нас очень много. Наш край обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет в особицу: чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин... А сколько тайн из жизни бурлаков не известно миру? Отчего это до сих пор никто не описал их? Отчего наш край молчит, когда даже и Сибирь отзывается?.. Я не могу в себе отличить таланта, пусть это скажут люди. Я знаю только, так, по крайней мере, мне кажется, что «Скрипач» и драма «Раскольник» написаны дельно. Это только для опыта. В них мало смелости. Пусть только эти два сочинения выйдут в свет, я буду знать, что я могу писать, и буду писать смело.

Февраль — май 1862 года

...не знаю почему, а она мне понравилась, в ней видна была робость, когда она глядела на меня, и если что говорила, то голос ее дрожал. Она ни о чем меня не спрашивала... Я долго любовался ее темно-каштановыми волосами, обвитыми вокруг маленькой головки, вспоминая время, когда она, бывало (в детстве), расплетала их и чесала. В простом сереньком платьице она казалась безукоризненно хороша...

...В моей памяти мелькнули слова наших родителей, обещавшихся соединить нас навеки, отчего я тогда отстранялся... Я ужаснулся своего прошедшего. Зачем я дичился ее, зачем ненавидел ее за ее длинные во-

<sup>8</sup> «Стихосложение» Перевлесского — «Русское стихосложение» П. Перевлесского; второе издание этой книги вышло в 1853 году.

лосы, большие глаза... Мне сильно хотелось поговорить с нею наедине, но где и как, это трудно определить... И теперь, оканчивая записки, я вижу перед собой ее милый образ...

...Она мне еще больше понравилась, — я начинаю на нее теперь поглядывать не шутя, и, кажется, я люблю ее...

...Я начинаю любить ее... Я ежедневно больше и больше думаю о ней...

...Вот уже двадцать дней, как я не видел ее; боже мой, как я измучился в первые дни; на первой неделе поста. Мне так и хотелось ее увидеть... ,отдать ей письмо, написанное стихами, в котором я объяснял, почему я прежде казался ей гордым, почему ныне стал чувствовать к ней влечение и что, несмотря на прежнее горе, я все-таки любил ее, хоть и молчал об этом. Часто, часто из Екатеринбурга я переносился мыслью в их хижину, часто мне казалось, как бы хорошо полюбить ее...

28 мая 1862 года

«...я согласна... я поговорю... приходите завтра». Великий господи! Постой! Постой! Дай опомниться!.. Я дома теперь. Не мешай, пожалуйста, М. В.<sup>9</sup> Ты уже больно выпил: кричишь, поешь, плачешь... Хорошо тебе, ты уже женат, живешь с женой, как живется, не чувствуешь сердечной тревоги. А я? Зачем, как будто я не люблю ее? А как она прекрасна, мила! Два раза уговаривала остаться посидеть... Как горячо, крепко пожала мне руку на прощанье... Зачем я не отдал ей письмо? Нет, я не пойду завтра! Я не хочу, чтобы мать сама устроила нас... Нет, я сам узнаю ее... Что мне в ее красоте?

---

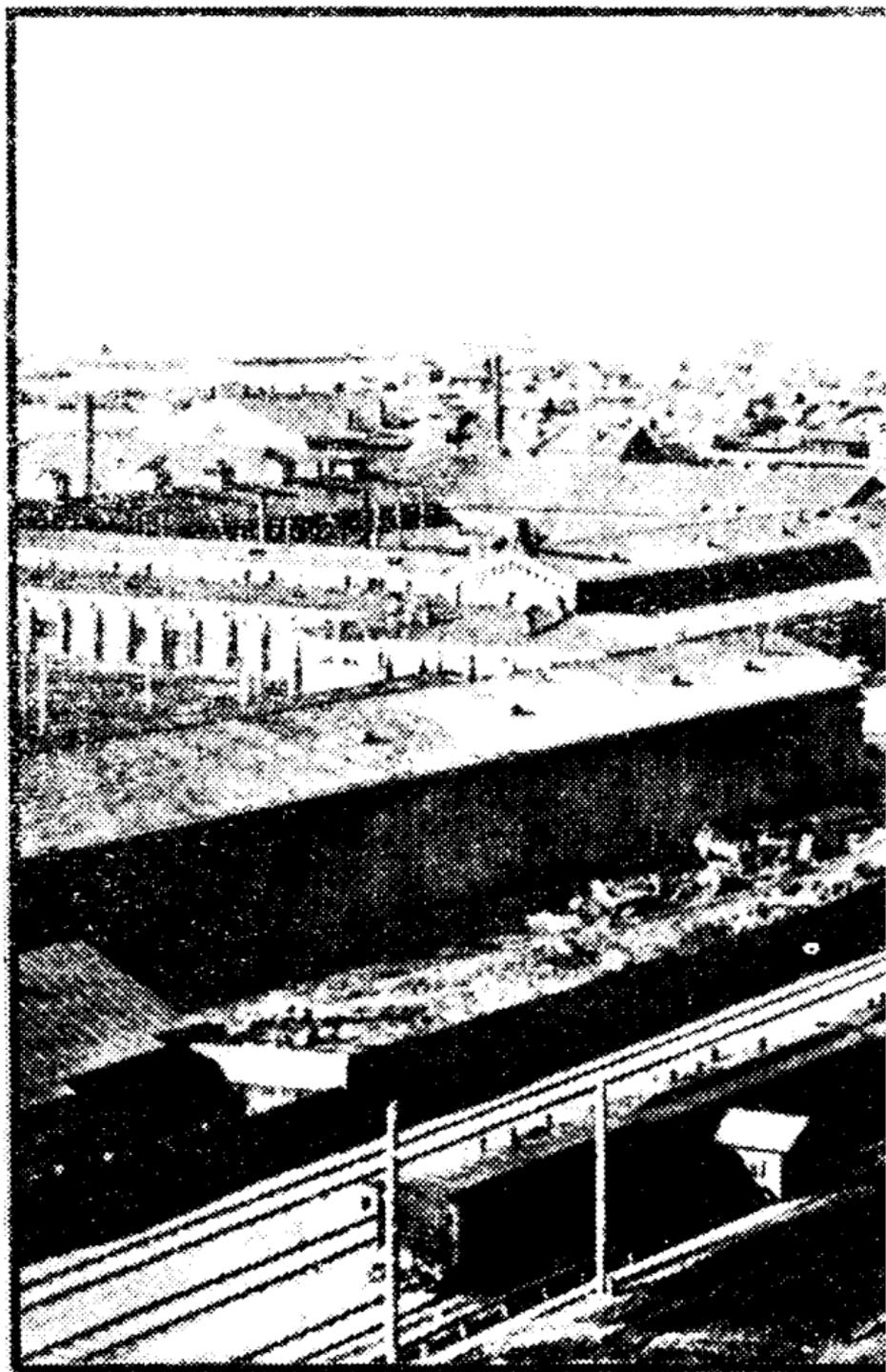
<sup>9</sup> М. В. — Максим Васильевич Антропов, у которого жил Ф. Решетников.

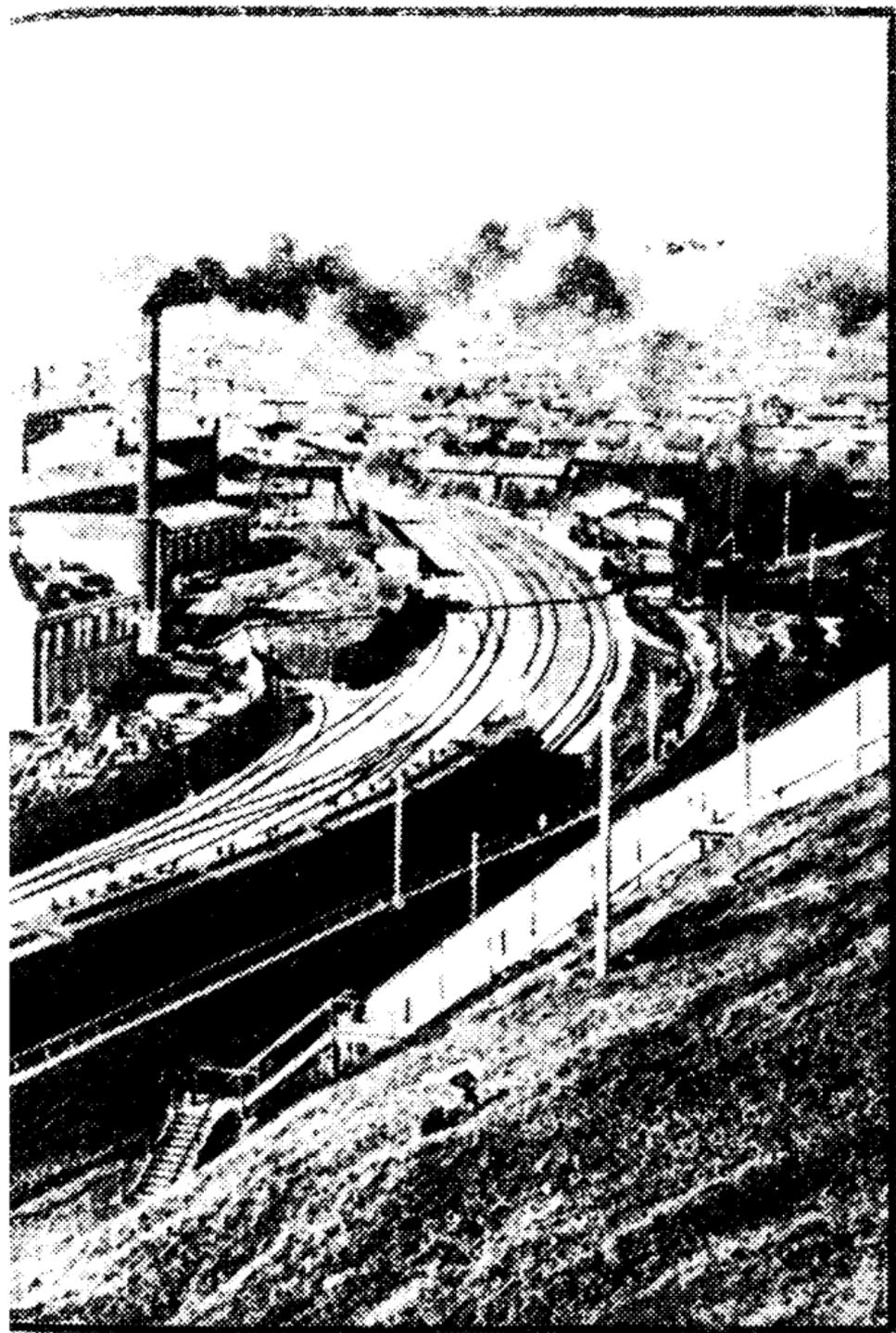
Конец мая — июнь 1862 года

...Дай наперед посмотрю на нее, как знаю... Она резва... в ее молчании заметно развитие... Из рассказов матери я заключил, что она успела воспитаться сама собой — иначе зачем бы ей пришла мысль идти в монастырь? Может быть, она только начинает любить меня? И вдруг слово о браке может удивить ее... Нет, ей не нужно говорить о браке. Ей скучно становится, если мать ее станет вспоминать мое детство... Ей надоело мое прошлое... Ей необходимо говорить со мной... Может быть, она ненавидит меня? Что за сватовство? И к чему оно? Я хочу только любить... может, все изменится... Прав ли я или нет? Сам не знаю. Что нужды! Пусть мы будем жених и невеста, пусть! Нам тогда будет свобода в разговорах. Что-то я, право, рехнулся совсем. Но она красива, я люблю ее... Но так ли я ее люблю, настоящей ли любовью? Нет! Кажется, я мало люблю ее... Я только увлекаюсь ею. Я хочу любить ее истинной любовью... видеть в ней постоянного настоящего друга... Я хочу, чтобы и она во мне видела такого же друга, чтобы нам не роптать... Пусть подумает. Через неделю я схожу, а теперь пусть подумает. За шитьем, в молчании, много можно передумать.

Июль — август 1862 года

...Господи! как мучительно и тяжело видеть ту, которую ты любишь, в тот день, когда подружки снаряжают ее к свадьбе, шутят исподтишка над тобой, и она сама вовсе не обращает на тебя внимания! Что я ее люблю, вижу, из того, что каждый день думаю о ней, жалею, что не могу на ней жениться, потому что не узнал ее, хотя и писал в дневнике иной раз совсем другое... Быть может, она выходит замуж совсем не по любви?





*Вид на Мотовилихинский завод*

Осень 1862 года

Я не могу жить в Перми — мне надо новой жизни... Что сказать? Сказать, что я не буду писать, — я должен его обмануть, и что тогда будет со мною?.. Сказать, что буду, — значит, остаться в Перми... и бог знает, что будет со мною... Нет! Скажу лучше «не буду» — и стану ждать на это ответа... Сделаю для него все, соглашусь, и тогда — будь, что будет... Уеду... Но тихонько буду писать, пока обстоятельства службы и жизни не прекратят эту охоту... Ах, если бы вы знали, что это за страсть... Что делать! Я так наделен судьбой, что не мог образоваться... Разве я не могу еще писать лучше? Я могу научиться... Мне хочется... Но служба? О, я не долго проживу этой мучительной жизнью!<sup>10</sup>

Начало августа 1863 года

Когда я простился с друзьями и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало крепко грустно. От меня удаляется и милый город, удаляется милая река, которую я любил с детства, с ее бурлаками... Я любил на ней плавать, и когда рыбачил в детстве, подолгу задумывался над природой; мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло... На ней я провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличая людей... Я был туп в то время, но я рвался быть лучше. В Перми я ничего для себя не сделал. Мое воспитание, забитость... даже любовь не принесла мне ничего

---

<sup>10</sup> Этой записи предшествовал разговор с А. В. Брилевичем, петербургским чиновником, прибывшим в Пермь для ревизии казенной палаты. Ревизору понадобился толковый переписчик, и палатское начальство выделило в его распоряжение Решетникова, который поставил себе задачу заслужить расположение Брилевича и добиться при его содействии перевода на службу, в Петербург. Брилевич пообещал свою помощь в переводе в Петербург при условии, если Решетников не будет больше писать. Решетников сбещал. А. В. Брилевич исполнил свое обещание и рекомендовал его переводом в департамент внешней торговли Министерства финансов, где и стал работать Ф. М. Решетников.

хорошего. Был ли хоть один день с какой-нибудь надеждой? А любил я берег Кэмы, любил просиживать подолгу ночью у Архирейского Ключика и любоваться тихой Камой, звездами и серо-темными тучами, отражающимися в воде, всплески рыболовов, закамские огоньки, твой лед, когда он шумит и ломает все по пути... Да, любил я твою природу, Кама! Теперь ты катишь меня далеко и бог весть, ворочусь ли.

## ИЗ ПИСЕМ Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

Иеромонаху Леониду

Февраль 1857 года, г. Соликамск

Ваше преподобие отец Леонид! Мне желательно быть послушником Вашего монастыря. Читать я умею, отца и матери у меня нет, а после 23 марта я куда хочу, туда и поступаю на службу<sup>11</sup>. Я еще давно этого желаю. Я даже клялся богу, чтобы по окончании дела поступить в монастырь.

Итак, всечастный отец, прошу, придайте мне благий совет, — вы уже давно здесь живете. Напишите мне на этом же листочке. Ваш покорный слуга

Федор Михайлов Решетников<sup>12</sup>.

В. В. Решетникову<sup>13</sup>

4 июля 1860 года, г. Екатеринбург

Любезный тятенька  
Василий Васильевич!

Примите от меня низжайшее почтение с пожеланием

<sup>11</sup> 23 марта 1857 года оканчивался срок 3-месячного послушания Решетникова по приговору Пермской палаты уголовных и гражданских дел.

<sup>12</sup> Намерение Решетникова остаться послушником в монастыре не встретило сочувствия его близких и не осуществилось.

<sup>13</sup> В. В. Решетников — дядя и воспитатель Ф. М. Решетникова.

здоровья и всего лучшего. Прошу от вас вашего благословения.

...Я давно понял свою детскую ошибку, повергшую меня в свет, равный бедным труженикам, и еще должен благодарить и за это вас! Но теперь я — взрослый юноша и понимаю себя и других и хоть не обучался в гордых салонах и не знаком с паркетными, однако могу по крайней мере писать не хуже других. А за это все-таки я должен отдать вам, любезный тятенька, справедливую благодарность и благодарить со слезами.

Вы знаете мою жизнь, как и я ныне ее узнал, и знаете, какое широкое поле горести было в ней, сколько бедствий извлеклось из одного источника этого зла, и зло это — я; но вы исцелили это все; теперь нет этого поля; остается светлый путь впереди. Благодарю вас, благодарю!

Но посмотрим внимательнее на оставшееся семя этого поля и путь впереди.

...Служа в уездном суде, я, кроме столоначальства, никакой не вижу впереди карьеры. Я вполне изучил службу уездного суда и потому она мне давно наскучила: мне желательно знать больше, в других местах, и потому мне желательно служить в виду губернского начальства. А бог знает, какие могут случиться последствия от столоначальства. В этой низшей инстанции не научишься доброду, кроме взяток, которые марают нашу честь и совесть. Итак, вот в каком положении я нахожусь в городе Екатеринбурге. Не знаю, как мне вырваться из этого хаоса!.. И если по вашему ходатайству я буду в Перми служить, то поверьте, я никогда не забуду вас.

...Прошу вашего благословения... Прощайте. Целую вас.

Сын, любящий вас, Ф. Решетников.

**В. В. Решетникову**

31 июля 1860 года, г. Екатеринбург

Любезный тятенька Василий Васильевич!

Письмо ваше от 25 июля, полученное мной 30 июля, несказанно меня обрадовало.

...Признаюсь, я до вашего письма ко мне хотел написать вам: просить совета, чтобы написать просительное письмо губернатору или председателю какому-нибудь, и с этим письмом моим хотел вас просить сходить туда, но до получения же раздумал: я начинаю привыкать к городу, только маменьке что-то я не нравлюсь, ей желательно видеть меня на квартире. Не говорите это ей — она ввек не забудет этого. Не выдавайте меня!..

...Нет, не думайте этого, что собственно для того желаю найти себе хорошую службу, чтобы оставить вас! Я просил вас только по скуке, а теперь начинаю привыкать и в надежде, что буду когда-нибудь служить в Перми, охотно остаюсь в Екатеринбурге в уездном суде. Служба трудная: все делаю сам, писец есть — Медведев, да и тот врет, — нельзя доверять, чтобы он переписывал что-нибудь. Нынче я получил жалованья 7 руб. серебром, которые и отдал маменьке. Поверьте, я обоих вас люблю. Прошу вас, дайте только мне волю в том, чтобы я мог писать, когда мне вздумается, — тогда я забуду весь свет и буду знать вас и то, что я в Екатеринбурге; да еще прошу вас менее сердиться на меня, — и тогда я спокоен в домашней жизни... Желаю вам здоровья и всего лучшего, прошу благословения, за которое чувствительно благодарю.

Кланяюсь. Прощайте!

Любящий вас сын ваш Федор Решетников.

Новостей в городе нет. Все худо и хорошо.

**В. А. Трейерову**

26 марта 1862 года, г. Пермь

**Василий Афиногенович!**

Извините — я пишу вам без титула... Мне хотелось назвать вас другом. Почему?.. Вы мне ближе всех кажетесь; я вас отличил от всех прочих и полюбил вас. Это не лесть, которую я терпеть не могу, а правда, которую я не скрою от вас и которую не скажу никому.

...Служа два года в Екатеринбургском уездном суде, я находил время писать. Я писал где-нибудь в углу или лежа, чтобы не видели родственники, и в две недели оканчивалось задуманное. Читать мне дозволялось, но писать нет, а это была главная моя охота: я не мог жить без того, чтобы не писать.

...В суде я не мог служить с такими чиновниками, которые не могут дня прожить, чтобы не смошенничать, чтобы не сплутовать против закона. Ненавидел поверенных, судью, членов, своих товарищей за их взятки, и надо мной смеялись. Часто я плакал — зачем я втолкнул в эту среду хаоса, дряни и нечистоты. Но вот я в казенной палате. Что же в ней? Немного лучше суда. Всё дрянь, да и везде в городе дрянь...

...Я рад, что нашел в вас такого человека, какого искал, и скажу вам: вы один поняли несколько меня и отличили от прочих.

...Об вас, Василий Афиногенович, в библиотеке и в палате почти все забыли, как скоро забывается всё на свете, и если спрашивают посторонние, то говорят: «А, уехал с председателем». «Куда?» — спрашивают они. «В Петербург». — «Зачем?» — «Да ведь надо же кому проводить председателя, — соскучится один-то». И при этом смеются. Некоторые вовсе думают, что вы не приедете в Пермь, а останетесь служить в Москве

с председателем. Я знаю, вам все это покажется горько, но вы сами просили написать меня обо всем.

...Кажется, все. Будет вам читать до субботы. А как, поди, вы весело проводите время на родине, в кругу родных, в родном местечке... Люблю и я родину свою, свою Пермь, рыболовство, прогулку по Каме, лежать за Камой на траве...

У нас снег тает сильно. Напишите, пожалуйста, мне что-нибудь на это письмо.

Желаю вам здоровья и всего лучшего. Примите мой поклон.

Ваш покорный слуга Ф. Решетников.

**Ф. М. Достоевскому**

14 января 1863 года, г. Пермь

Милостивый государь!

12 июня 1862 года мною послана по почте при письме с 10-ю коп. сер. посылка с двумя моими сочинениями — драмой «Раскольник» в 5 действиях и очерком «Скрипач» из заводской жизни. Письмо и посылка были посланы на ваше имя, в письме я просил вас, между прочим, если сочинения не могут быть отпечатаны, возвратить их мне. Но вот уже прошло полгода, я, не получая ни ответа о моих сочинениях, ни получения их обратно, сомневаюсь, получены ли вами письмо и посылка. А как всякому дорог свой труд, то более для меня всего дороже мои сочинения, каковы бы они ни были для других, тем более еще и потому, что я не списал с них копии.

Если нельзя будет их отпечатать, то покорнейше прошу вас выслать мне их в Пермь. За пересылку я заплачу тотчас же по получении их назад. Мне, при моей бедности, недорого рубль за то, чтобы только

получить их обратно, а не лишиться вовсе. Если же вы почему-нибудь сомневаетесь, что я не заплачу денег за пересылку их, то прикажите написать мне письмо о высылке на пересылку денег.

Я не знаю причины, отчего мои сочинения не могут быть напечатаны.

Помощник библиотекаря чиновников  
Пермской казенной палаты  
Федор Михайлович Решетников <sup>14</sup>.

Н. Н. НОВОКРЕЩЕННЫХ <sup>15</sup>

### ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. РЕШЕТНИКОВЕ

9 марта 1871 года умер в Петербурге Ф. М. Решетников. Мир праху твоему, честный труженик!

За день до его смерти я просидел у него целый день. Много было переговорено в этот день и о прожитом, и о будущих планах. Жилось ему в Петербурге плохо, его не знали. В среде петербуржцев, в среде своей литературной братии, он был неузнаваем: был мрачен, груб, даже дерзок. Совсем другим он становился в среде пермяков. Каждое его выражение, каждый оттенок сказанной фразы был всем понятен. Решетников был фотограф-писатель. Он с точностью фотографии мог передать на бумагу любую сценку, но от него требовали великого, а все искусственное было плохо. Петербург не мог дать ему пищи для наблюдений, и его тянуло в Пермь. Об этом и шел наш разговор 8 марта, и мы решили с первыми же пароходами ехать в Пермь.

---

<sup>14</sup> Драма в стихах «Раскольник» и повесть «Скрипач» были посланы Решетниковым в журнал братьев Достоевских «Время», но напечатаны не были.

<sup>15</sup> Новокрещенных Николай Никифорович (1842—1902) — уральский историк и краевед.

Решетников настойчиво просил прийти к нему на другой день, чтобы окончательно договориться о поездке, что я и обещал, но не мог исполнить по случаю приезда в этот день приятеля-пермяка, с которым я провел весь следующий день. Решетников был в это время болен, но бодрился и не хотел лечиться, объясняя все это хандрой и той обстановкой жизни, которая ему мешала быть хозяином своего времени. Утром 10 марта я отправился к нему, но на пути зашел в книжный магазин Плотникова, чтобы пригласить и г. П. к Решетникову, но тут мне сказали, что есть слух о смерти Решетникова, о чем-де есть в газетах и объявления. Я кинулся к газетчику, взял номер газеты — читаю, умер! Взял извозчика — приезжаю, вижу на столе труп дорогого пермяка! По расспросам оказалось, что 9 марта Решетников заболел серьезно и слег на свой любимый диван. Послали за врачами, дали знать в редакцию «Отечественных записок», пришли доктора и признали кой-какое расстройство, прописали рецепты и только. Вечером собралась компания, болтали, но больной попросил удалиться из кабинета, остался лишь В. Г. Комаров, старший брат Н. Г. Помяловского, желавший оказать услугу больному, но тот желчно заявил, что он не барин и свои нужды сам еще сумеет справиться. После этого улегся опять на диван, прося дать ему уснуть. Комаров, зайдя в кабинет около 11 часов вечера, кликнул жену покойного — Решетников в это время испустил последний вздох. Тихая, спокойная смерть была неожиданностью для всех. Никто не ждал и не ожидал такого терпения в больном и такой развязки. Даже жена покойного, когда я предупредил ее 8 марта, что Ф. М. очень болен, не верила в серьезность болезни, до того человек мог подавить в себе признаки личных страданий — это были воля, умение управлять собой!

Этим покойный писатель достиг того, что лично он прекрасно понимал окружающих, но его не знали и никто не изучал. Из всех писателей своего времени он выделял Г. И. Успенского, к которому питал глубокое уважение не только как к писателю, но и как к человеку. Знал ли это последний, не знаю. Частная жизнь окружающих Решетникова, кроме г. Успенского, не соответствовала идеалам Решетникова, и он чуждался этой жизни. У него остались записки и дневник, которые обрисовывали его петербургскую жизнь...

Решетников, явившись в Петербург, жил очень печально. «Пчелка»<sup>16</sup> ему ровно ничего не платила за его сообщения, и «Подлиповцы», известные еще в Перми, явились первым платным трудом...

К этому времени относится и его портрет, снятый в холщовом кителе, без бороды. Он оказался у его шурина Каргаполова. Более он не снимался. Карточку увеличили, приделали бороду, подправили, где следует, и явился в печати портрет Решетникова-брюнета, когда он был русский и с жидкими волосами, а не такими, как на портрете. На портрете все-таки очень схож с тем, чем был Решетников перед смертью. Маленького роста, достаточно широкоплечий, он напоминает тип пермяков.

В дневнике его, оставшемся после смерти, все сношения с Некрасовым и другими были тщательно записаны. Решетников интересовал писательский кружок, как лесной медвежонок, и чем грубее были его выходки, тем более он обращал на себя внимание; не бывши положительно грубым по натуре, он рисовался, чтобы сохранить свое положение. Но едва он с своими выходками сталкивался с обычными натурами, так выходило не то. В дневнике его было записано, как он

---

<sup>16</sup> Газета «Северная пчела», в которой Решетников напечатал ряд своих очерков и рассказов.

был у В. С. Курочкина<sup>17</sup>. Жена последнего, увидав, что Решетников, покуривая свою трубку, отплевывается на ковер, подвела его к плевательнице, объяснив ему ее значение, полагая, что он и этого не знает. Все хохотали, кроме, конечно, Решетникова.

Последний труд Решетникова «Яшка беспутный» был уничтожен им самим при следующих обстоятельствах.

Сидели мы компанией у Решетникова, — он читал своего «Яшку», где до мельчайшей точности вывел кой-кого из присутствующих. Чтение кончилось, написано было листа два печатных. Один из слушателей подает Решетникову лист бумаги с карикатурами.

— Послушай, Федор Михайлович! Рисуи ты Пилу, Сысойку, Глумовых, но не трогай нас — мы сами себя сумеем описать. Я вот начал тебя описывать — смотри! Первая карикатура — кокотки, подпись «Свой хлеб», ром. Решетникова; вторая — церковь и кабаk, в который идет народ, подпись — «Где лучше?» — роман Решетникова, — и еще что-то.

Решетников обозлился, изорвал написанное, и никто из нас не успел слова сказать, что это шутка. Был он очень и очень самолюбив и на всякое слово, если ему казалось обидным, он отвечал дерзостью и бранью. Но это у всех есть и, в особенности, у тех, кто личным трудом, талантом и энергией выбился из приниженной среды.

Решетников был по натуре добрейший человек и во всякое время был готов откликнуться на помощь другому — этому я видел много примеров.

Никто не подозревал, чтобы у Решетникова были деньги, и все, что он получал, от него отбиралось на домашний расход, за исключением десяти или более

<sup>17</sup> Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — русский поэт, издатель сатирического журнала «Искра».

рублей, о которых он заявлял, что прокутил, а в действительности прятал в книги на черный день, и у него всегда можно было найти несколько рублей. Перед смертью, за несколько дней, он мне сказал, что у него есть сбережения, о которых никто не знает, даже из семьи, и что они хранятся у шурина. Когда похоронили Решетникова и когда семья осталась без гроша, тогда только передали эти деньги жене, и их оказалось до 3 500 рублей.

Прошло двадцать лет со дня его смерти, и товарищей его не много осталось в живых, еще десяток лет — все там будем, и некому будет вспомнить о нем. Помянем же добрым словом неудачника-писателя, который при других условиях мог бы выработаться в силу. Помянем его, как одного из первых, осветивших неприглядную жизнь Пил и Сысоек, а их теперь много. Мир праху твоему, дорогой Федор Михайлович!

# Дмитрий Наркисович МАМИН-СИБИРЯК (1852—1919)

С 1868 по 1872 год в Пермской духовной семинарии учился будущий писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Сын священника, Д. Мамин, по воле своих родителей, должен был наследовать дело своего отца. Поэтому после окончания Екатеринбургского духовного училища 15-летний Дмитрий Мамин был определен в Пермскую духовную семинарию, где проучился четыре года и оставил ее, не закончив полного курса обучения. Молодого Мамина не прельщала сан священника, так как он мечтал о специальности по призванию, которую можно получить в университете. Но попытки поступления в Московский и Петербургский университеты окончились неудачно (он опоздал вовремя подать прошения), и в 1872 году Дмитрий поступил в Медико-хирургическую академию, которую тоже не закончил. В эти годы он вплотную занялся писательской деятельностью, способности к которой отчетливо проявились уже в Перми. И несостоявшийся врач Дмитрий Мамин стал писателем Маминым-Сибиряком.

## ПИСЬМА Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА ИЗ ПЕРМИ

Н. М. Мамину<sup>1</sup>

Март 1870 года, г. Пермь

У меня к Вам есть большая просьба: узнать программу реального тагильского училища всех классов, потом узнать, можно ли поступать из реального училища в технологический институт или в другое высшее заведение. Это Вам легко узнать от служащих наших или тагильских.

<sup>1</sup> Мамин Наркис Матвеевич, отец писателя. Начало и конец письма не сохранились.

Если можно поступать куда, то с экзаменом или без экзамена?

Узнавши все это хорошенько, Вы порассудите, нельзя ли мне тут поступить, и, главное, имейте в виду вот что: чтобы был верный кусок хлеба, а то ведь теперь мы эфирами разными набиваем голову — ну, а как приведется с эфиров в канцелярию спуститься, сквернейшая будет штука. Прежде ладно было: кончил курс и поп, а нынче не то, заранее надо куда-нибудь себя готовить. Рассудите теперь, к чему это нас теперь готовят. Хотя и много шумели о преобразовании семинарий, но, в сущности, пользы немного. Что, например, я приобрел в четыре года учения?<sup>2</sup> И что впереди мне предстоит, я не знаю и Вы также, а надеяться на авось — самая плохая штука. В реальном же училище я, получив основательные знания по заводской части, не пропаду, а если попаду в технологический институт, то во всяком случае выйду никак не хуже какого-нибудь университетанта, который, вышед из университета, скрипит где-нибудь за те же 15 руб. Теперь наше положение в семинарии можно сравнить с положением ребенка, которому говорят, что белое совсем не белое, а черное, потому что святые отцы выкапывают всякую мертвечину, рухлядь, никуда не годную, и заставляют нас ее заучивать, как что-то путное; время самое годное для приобретения знаний почти на всю жизнь, время, которым мы должны бы дорожить, у нас пропадает на заучивание мертвечины, то есть классиков. Куда нам будут годны эти классики? Только ведь обманываем себя и других: никто еще никогда не делал старое новым, годным для употребления.

---

<sup>2</sup> За два учебных года (1866/67 и 1867/68) в Екатеринбургском духовном училище и за два года (1868/69 и 1869/70) в Пермской духовной семинарии.



Сами-то наши наставники не знают классиков, несмотря на то, что иссушили тело свое и ум на них. Неужели Вам хочется лучше получить из меня такого же губителя молодых умов, как наши редипты-наставники, чем честного и трудолюбивого заводского человека?

Право, я не знаю, что Вы ожидаете от меня, если оставляете в семинарии? Ведь она много ли мне дала пользы-то; от труда она всякого отучит, а чему хорошему научит? Если чего ожидать от нее, то это только физики в 4-м классе и математики, а то ведь класси-

ки, психология, философия и прочая дребедень умного человека с ума сведет. Еще повторяю: пожалуйста, подумайте о том, нельзя ли мне поступить в реальное училище и оттуда в технологический институт, это нисколько не хуже семинарии.

Узнайте, что и в каких классах преподают в реальном училище и можно ли будет из него поступить в технологический институт или в другое какое-нибудь заведение высшее; если никуда нельзя, то я остаюсь в семинарии; если же нужно приготовиться только по новым языкам, то я могу приготовиться почти без учителя. Оставлю Вам решить мою будущность, — я верю тому, что Вы говорите, потому что, более и лучше всего научит сама жизнь.

Ответ на это письмо напишите как можно скорее: от этого я могу много потерять.

• • •

**Н. М. и А. С. Маминым**

15 января 1871 года, г. Пермь

Любезнейшие родители!

Ваше письмо и посылку-энциклопедию, посланные с Николаем Николаевичем Варушкиным<sup>3</sup>, я получил сегодня, то есть 15 января. С Никоном Терентьевичем<sup>4</sup> об энциклопедии не написал потому, что еще не знал хорошенько в то время, есть ли что-нибудь по химии в этой энциклопедии.

Во время классов от Н. Н. Варушкина я получил ее и тотчас же после классов снес переплетчику, за переплет обеих частей нужно отдать 60 коп.; что касается

---

<sup>3</sup> Николай Николаевич Варушкин — соученик Д. Мамина.

<sup>4</sup> Никон Терентьевич Сторожев — висимский заводской служащий, переезжал в это время на постоянное жительство в Пермь.

до пользы, которую принесет эта книга мне, кажется, нельзя сомневаться в этом.

Архангельские<sup>5</sup> переехали на другую квартиру, наискосок о. Андрея Будрина, квартира довольно порядочная, только комнаты не совсем хорошо расположены. Никон Терентьевич пока еще не нашел никакой службы, — везде, как и Колю<sup>6</sup>, просят подождать. Ему не очень-то приятно сидеть без дела, а более еще неприятнее это Евгении Тимофеевне<sup>7</sup>. Ваня<sup>8</sup> приехал второго числа вечером, письмо от него я получил, а также и деньги 6 руб. серебром. Николай Тимофеевич служит помаленьку; Владимир Тимофеевич<sup>9</sup> тоже, то есть служит, — он как будто тяготится своими родными и ошибся в своих расчетах, — впрочем, это только я говорю так, и на деле, может быть, дело идет иначе. Ваня пока ничего не делает.

Мария Герасимовна<sup>10</sup> не может удержаться от слез при воспоминаниях о Висиме. Вообще все Архангельские кланяются вам. О классицизме я говорить и писать устал, — едва ли будет время, когда я буду иначе совершенно думать о нем, чем теперь; конечно, я знаю, что время много изменяет человека, но, чтобы изменить эти убеждения, я считаю почти невозможным. Самый последний результат моего мышления, если только он будет, тот, что и классицизм с самих лучших своих сторон, которых у него так немного, действовать может благотельно только тогда, когда

<sup>5</sup> Семья висимского дьякона Тимофея Архангельского.

<sup>6</sup> Коля — старший брат писателя.

<sup>7</sup> Евгения Тимофеевна Архангельская-Сторожева — жена Никона Терентьевича Сторожева, дочь Тимофея Архангельского.

<sup>8</sup> Ваня — Архангельский Иван Тимофеевич.

<sup>9</sup> Николай Тимофеевич Архангельский; Владимир Тимофеевич Архангельский работал в Перми врачом.

<sup>10</sup> Мария Герасимовна — жена Тимофея.

его серьезно изучат, а к серьезному его изучению не хватит времени и даровитости несчастных педагогов; вершки же везде не заслуживают внимания и особенно эти вершки нетерпимы в знании классиков, не подумайте, что когда-нибудь придет время господства классиков, — это его усиление, может быть, есть последние, предсмертные агонии. Вообще, нет у меня слов о древности.

Слушанием лекций в классе, во всяком случае, нельзя пренебрегать: это одна из самых замечательных житейских хитростей-мудростей, а потому и я не пренебрегаю ничем, что можно приобрести в классе. На свою участь роптать я пока еще не намерен, иногда только кое-что прорвется: да ведь не железный же человек-то, имеет же на него какое-нибудь действие окружающая действительность!

Вы говорите, что мы слишком легко относимся к настоящему своему времени, времени приобретения всевозможных знаний, — на это скажу вот что: наши воспитатели, наши руководители гораздо легче смотрят на это, чем мы сами, они не только ничего не дадут, но еще и то, что мы без их помощи приобрели бы, расстроят; спросите у них, много ли они чего дали мне, а набор спряжений и склонений и слов без порядка, без толку не есть еще знание. Если я или мои товарищи что приобретут, то это — плод собственных забот, трудов и ума; а за свое собственное, которое добывается таким трудом, потом и кровью, ни я, ни они не обязаны благодарить других, да подобный поступок был бы положительно ни с чем несообразен; теперь примерно я учусь, но если бы я не стал заботиться сам о своей голове да слушал бы своих учителей, то не только знаний, а и здоровый-то рассудок совсем потерял.

В конце имею сообщить вам неприятную новость:

я уже раньше писал, что за октябрь по поведению у меня три, но помощник, новенький, такой скотина, что за декабрь опять поставил три, за то, дескать, что не все святки ходил в церковь; право, не знаю, где найти пример подобной дичи, бессовестности и подлости; ну, положим, если бы я один не ходил, а то половина класса, я стал говорить инспектору, что-де не я один не ходил, да и не объявлено было, мол, обязательно в церковь ходить или нет, притом, мол, в прежние годы никто не ходил, да ничего никому не делали, — на мое красноречие получился такой ответ, что это не оправдания и что начальство вольно делать все и его поступки не должны иметь никакого контроля.

Конечно, последняя новость неприятна для вас, но тем более неприятна она для меня, но что делать, ошибся маленько, к тому же и ошибка-то поправимая.

Денег пошлите поскорее, рублей 10 или 12.

На святках были три литературных вечера, на двух из них я читал. Более новостей особенных нет.

Ваш Дмитрий

P. S. С новым годом, с новым счастьем!

\* \* \*

Н. М. и А. С. Маминым

29 февраля 1872 года, г. Пермь

Любезнейшие родители!

Письмо ваше от 9 февраля с 16 руб. я получил 18 февраля. Прочитав письмо, я обрадовался, чему бы вы думали? Вот чему: Вы, папа, пишете, что не желаете добиваться рекомендаций, добиваться перевода на другое место теми средствами, которые имеет обыкновение употреблять наше духовенство, что эти средства не по вашим убеждениям. Да, я этому обра-

довался и радуюсь, потому что мне очень было бы неприятно видеть Вас наряду с теми, которые добиваются цели, не разбирая средств. Письмо Архангельским передал, передал и деньги. Мария Герасимовна благодарит и просит передать вам поклон. Странное это семейство — Архангельские, особенно пол мужской. Владимир Тимофеевич то гонит всех из дому, то не отпускает, то сорит деньгами, то дрожит над ними. Кажется, что гнать от себя родных ему нет никакого основания и выгоды, — никакие прислуги и денщики, даже никакая его будущая супруга не будет в состоянии так ухаживать за ним, как они. Например, когда ждут его возвращения домой, то Ваню посылают за несколько времени вперед в прихожую, чтобы там он мог отворить дверь по первому звонку, не знаю, что ему лучшего ждать от людей чужих. Николай Тимофеевич относительно родных держится тоже довольно странной политики: жалованье пропивает или проигрывает, и это почти постоянно, живет на счет брата, часто ссорится с мамашей и вообще со всеми. За все и вся в ответе Мария Герасимовна и Зинаида<sup>11</sup>, даже Ваня и тот на них, хотя и сам в настоящем положении совсем не более как денщик у брата. Мария Герасимовна очень рада была бы отделиться, но сам Владимир только говорит, делать же этого не делает, да и едва ли когда-нибудь сделает; просто-напросто, должно полагать, купоросится, благо есть над кем.

Это письмо я начал писать с неделю назад, но почему-то все не мог кончить; это для меня редкость, потому что вообще письма я пишу сразу.

Теперь скажу кой-что о себе.

Странное наше положение, то есть то положение, когда нам приближается выход из семинарии. Трудное

---

<sup>11</sup> Архангельская Зинаида Тимофеевна.

это время, должно быть, для всякого выходящего из нас, — это я отчасти могу судить по себе. И действительно, что и кто мы? Относительно мнения общественного, мы ни рыба ни мясо; хвалить-то хоть нас и хвалят иногда, но и только, кажется. Этим ограничиваются наши отношения по большей части с теми людьми, с которыми нам придется, может быть, впоследствии иметь дело, да и не может быть, а положительно придется. Общество знает только, должно полагать, что мы существуем на свете божьем, и только. Что же сами мы о себе думаем? Что касается до этого вопроса, то он для нас вопрос нерешенный и нерешимый, потому что решение его возможно только при сравнении с другими представителями средних учебных заведений, а с ними мы личных сношений не имеем, следовательно, остается дагадываться по слухам, но это самого сомнительного свойства догадки, и мы оставались и остаемся в сомнении насчет своего значения в среде русского учащегося юношества и тем более общества; поживем — доживем и увидим. Но вот это-то и тяжело. Просто иногда чуть не сходишь с ума от неизвестности. Тяжело от сознания бесполезной траты своего прошедшего и настоящего; тяжело от сознания своей глупости собственной; тяжело, наконец, глядя на других, как они идут да маются по той же дорожке, по которой и сам прошел. Да мало ли, папа, от чего тяжело бывает, не вам мне сказывать, сами знаете!!! Но все еще сносно, когда дело касается только одного умственного развития, — время не ушло — воротим, что нужно. А вот касательно физической стороны да нравственной, так хоть в петлю полезай иной раз. Деньги потерял — говорят — ничего не потерял; время — много потерял; энергию — все потерял. А откуда, спрашивается, нам набраться всего этого? Мало того, что нам не только

не дано того, что от нас требует жизнь, жизнь разумная, честная — словом, жизнь, достойная названия человеческой, мы и то, что приобрели бы с этой целью, можем потерять при столкновении с этой средой, в которой приходится нам жить. Конечно, достоинство человека как человека только и может разворачиваться в противных обстоятельствах, но ведь нужно же взять во внимание нашу молодость, нашу положительную неопытность, непрактичность, увлечения — мало ли чего наберется в том же роде, чтобы оценить правильно всю силу тяжести, которая на нас лежит, от которой одни гибнут, другие остаются уродами — в физическом, нравственном, умственном отношениях, и только очень даже слишком немногие выходят целыми и невредимыми из этой борьбы.

Ведь слишком мало того, чтобы быть исправным в классе всегда, переходить из класса в класс, даже хорошо кончить и быть принятым в другое заведение, — мало всего этого, я говорю, потому что это только формальная сторона дела. Не велика важность в том, примут или не примут меня в университет, — я могу поступить вольнослушателем; не беда в том, что у меня мало средств к существованию, — я могу существовать работой. Но предстоит теперь задача более трудная и серьезная для решения, но на которую, не знаю почему, всегда мало обращают внимания. Это — решить свою участь на всю жизнь, избрать специальность. Как мало и поверхностно думает об этом наш брат, это я могу судить по своим товарищам; но ведь подобное решение — решение слишком важное, оно может испортить всю жизнь. Ведь нужно слишком много ума и природной проницательности, чтобы взвесить свои силы, оценить их, угадать их назначение — одним словом, решить, куда и на что способен человек.

Одни при решении своей будущей карьеры главным образом обращают внимание на деньги, другие — на общественное положение, третьи — на примеры товарищей и знакомых и т. п. Но все это не так, как бы должно быть. Чтобы быть похожим на человека, нужно отыскать свое место, которое более всего способно удовлетворить мои наклонности, но как и где мне его найти? Этот вопрос для меня — неотступный вопрос; день и ночь, всякая свободная минута тратится на его решение; и тратится бесполезно, тратится мучительно, потому что вопрос все остается вопросом, вопросом еще более неотступным и навязчивым. Станешь себя разбирать со стороны физической — результат выходит неудовлетворительный; с умственной — тоже; с нравственной — и с той не лучше. Да на чем же, наконец, успокоиться? Где решение, ведь должно же оно быть? Ничуть не бывало, остаешься по-прежнему, с чем был. Не будь в нас, семинаристах, какой-то надежды на будущее, какой-то безотчетной почти смелости, просто пропадай ты в этом случае, как курица.

Не все еще мы потеряли, много еще у нас осталось — это энергия.

Больше писать о себе нечего, — все обстоит благополучно.

Брюки, если не будет случая получить их из Висима, сошью здесь. Недавно купил французский словарь Рейфа, который стоит 2,5 руб. В Екатеринбурге за антирелигиозные мысли исключили из 6-го класса гимназии семь человек без права поступления в другие учебные заведения, — подобные глупости только и возможны у нас, глупо и досадно. За месяц февраль у меня вышло недоимок 5 руб. серебром, которые издержаны на словарь, потому прошу у вас денег на март за квартиру и на погашение долга — 3 руб. се-

ребром. Вчера был большой пожар. Кланяйтесь знакомым; Коле скажите, что я ему больше писать не буду, так как он сам мне еще ничего не написал.

Марье Бобровской<sup>12</sup> большой поклон. Видел Мишу Гаряева<sup>13</sup>, который исключается из духовного звания и едет служить в Тагил.

Вышли новые постановления обер-прокурора относительно семинарий, — ничего, нам на руку, потому что все больше за нас, а не против.

Остаюсь здоров

ваш Дмитрий.

P. S. Вы не думайте, чтобы мы возлагали свои надежды на что-нибудь другое, кроме себя самих; и потому не думайте, что мы ничего не делаем или делаем мало, — нет, будьте уверены, что нет: все, что зависит от меня, все, что в силах сделать для поступления в университет, постараюсь сделать, делаю и буду делать. Наша сила — труд; наш капитал — энергия. Еще одно слово: погодите торопиться переезжать из Висима, авось как-нибудь делишки обделаем, а то, пожалуй, как раз из кулька в рогожку можно перевернуться; ведь есть места хуже Висима, да и в хороших-то местах, может быть, жизнь хуже, чем в нем: большой приход, квартира, прихожане, служба и т. п.

---

<sup>12</sup> Марья Бобровская — крестьянка из Висима.

<sup>13</sup> Миша Гаряев — сын священника Николая Гаряева, товарищ отца писателя.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОУЧЕНИКОВ  
Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

П. Н. Серебренников <sup>14</sup>

...Я думаю, что основы умственного и нравственного мирозерцания его, то есть Мамина, были заложены еще здесь, в семинарии, благодаря тем довольно благоприятным условиям, которые характеризуют эти годы. Помимо общих причин, были и другие, чисто местного значения...

...Время, проведенное им в семинарии, как это указывает отчасти и его семинарский аттестат, не пропало для него даром в смысле даже казенной науки.

Он интересовался более всего теми семинарскими науками, которые имеют тенденцию расширять умственный кругозор человека, каковы: логика, психология, обзор философских наук, физика, космография — по всем этим предметам он имел высший балл — пять.

Огромное образовательное влияние на Дмитрия Наркисовича, несомненно, оказала и тайная ученическая библиотека, существовавшая с 1870-х годов, то есть в наше время, которая потом (в апреле 1881 года) совершенно случайно была обнаружена пермским начальством...

Е. В. Бирюков <sup>15</sup>

Дмитрий Наркисович Мамин поступил в первый класс Пермской духовной семинарии в 1868 году вме-

---

<sup>14</sup> Павел Николаевич Серебренников (1848—1917) был однокашником Д. Н. Мамина по Пермской духовной семинарии (с 1868 по 1870 год они жили на одной квартире) и по Петербургской Медико-хирургической академии.

<sup>15</sup> Евлампий Бирюков — соученик Д. Н. Мамина по Пермской духовной семинарии, он был так называемым казенно-коштным учеником и жил в самой семинарии.

сте со мною из Екатеринбургского духовного училища в числе первых учеников и учился со мною до 4-го класса семинарии, из которого он вышел в университет вместе с другими товарищами. Дмитрий Наркисович был среднего роста, худощавый, слабого телосложения, носил очки. В продолжение всего семинарского курса он постоянно шел в числе первых учеников, поведения был всегда отличного, обладал недюжинными способностями, феноменальной памятью, завидным прилежанием; заданные уроки по известным предметам никогда не учил по книгам. Придет в класс, прочитает урок по учебнику и готово. Сочинения на заданные темы всегда писал в день подачи его. Бывало, спросишь: «Дмитрий Наркисович, сочинение написал к сегодняшнему дню?» — «Какое?» Скажешь, такое-то. Берет бумаги, чернил, садится за парту. Пишет прямо набело под шумок товарищей, и выходит отличное сочинение. Напишет кратко, сжато, в немногем выскажет суть темы. Очень много читал из русской и иностранной литературы дома. Был начитанным по разным специальным наукам.

Занимался ли Дмитрий Наркисович писательством на школьной скамье, нам было неизвестно: слухи были, что он что-то пописывает, но что и куда посылает, мы не знали достоверно. Был он хорошим репетитором детей. Много имел уроков в богатых семьях г. Перми. Был трудолюбивым, усидчивым, старательным. Кажется, он и содержал себя на свои средства, из дома родительского получал мало денег, так как отец его жил в бедном приходе и имел, кроме него, еще детей, которых нужно было воспитать.

В частной жизни он мне был не знаком, потому что жил на квартире, а я, как сирота, — в бурсе. Тесной дружбы с ним я не имел. У него свой кружок был товарищей из богатых учеников (в который я не вхо-

дил). Говорят, что дома он отличался простотою, аккуратностью, жизнь вел регулярную: в известное время вставал утром, в известное время был занят тем-то, в известное время читал и уходил на уроки. Одевался Дмитрий Наркисович всегда прилично, можно сказать, щеголевато, манеры имел светского человека и на неуклюжего бурсака несколько не походил. Был разговорчив, умел рассказывать всегда занимательно, выразительно, так что являлся прекрасным собеседником, любил поспорить, но мнений и взглядов своих не навязывал другим. Отличался наблюдательностью, юмором и, можно сказать, сарказмом, умел подметить в других добрые качества и недостатки.

С товарищами дружил скоро, в обращении с ними был вежлив, ласков, обходителен. Отличался выдержанностью своего характера, постоянством, был всегда в веселом расположении духа. Мы, товарищи, никогда не видели его в раздраженном состоянии, во вспыльчивости.

Дмитрий Наркисович любил пермскую природу, часто делал весною экскурсии с товарищами по берегу Камы и окрестным деревням и селам, любил вести беседы с крестьянами о разных предметах. Он детей умел к себе привлечь и расположить. На летние месяцы Дмитрий Наркисович обыкновенно уезжал на свою родину — Висим, к которому питал горячую любовь и о котором часто вспоминал. Во время же зимних каникул он отправлялся к товарищам своим недалеко от Перми.

Иван Сергеевич  
ТУРГЕНЕВ  
(1818—1883)

Сохранилось шесть писем Тургенева, посланных им в Пермь. Адресованы они были известной драматической актрисе второй половины XIX века Марии Гавриловне Савиной (1854—1915), которая ежегодно в течение 1881—1886 гг. летом приезжала в село Сиву Пермской губернии, в имение Н. Н. Всеволожского.

М. Г. Савина познакомилась с Тургеневым весной 1879 года, когда сыграла роль Верочки в пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Молодая актриса покорила писателя необыкновенным талантом и обаятельностью. После первой же встречи между ними возникли самые теплые отношения и частая переписка. Именно в это время Савина была увлечена блистательным лейб-гвардейцем, адъютантом одного из великих князей Никитой Всеволожским, которому принадлежали завод в Пожве и имение Сива (сейчас районный центр Пермской области).

Тургенев не одобрял ее выбора и живо интересовался их отношениями, что можно видеть из его писем, посланных в Сиву.

10 августа 1881 года,  
с. Спасское-Лутовиново (Мценск)

Милая Мария Гавриловна!

Сейчас получил Ваше письмо от 29 июля и отвечаю Вам по данному мне адресу, хотя из Вашего письма и не видно, получили ли Вы мое первое письмо, адресованное в Пермь. Очень Вам благодарен, что, несмотря на усталость и, как Вы выражаетесь, «хаос впечатлений», Вы не поленились известить меня о Вашем житье-бытье. Сообщенная Вами новость меня очень заинтересовала, так как дело идет о Вашем будущем, в котором я, по искренней моей привязан-



ности к Вам, принимаю живейшее участие<sup>1</sup>. Новость эта не слишком меня удивила: она была почти неизбежной с того мгновения, как Вы решились ехать в Пермь. При всех относительных его неудобствах, Вы все-таки приняли самое благоразумное и логическое решение; и если все это подтвердится телеграфической депешей, мы все с радостью поднимем в честь Вашу заздравный бокал; и я лично от души пожелаю Вам счастья, не чувствуя никакого **огорчения**, а только некоторую «*appréhension*»<sup>2</sup> — опять-таки вследствие

<sup>1</sup> Речь идет о браке Савиной с Н. Н. Всеволодским.  
<sup>2</sup> Опасение (фр.).

той дружбы, которая привязала меня к Вам. Если этот роман мог действительно так скоро испариться и если Вы имеете твердую уверенность, что Ваше супружество ни в каком случае не воспрепятствует Вашей театральной карьере, то почему же не радоваться всем тем, которые дорожат Вами и любят Вас? К тому же, после сделанных Вами шагов возвращение вспять — и даже отсрочка — немыслимы. А потому посылайте телеграмму; только торопитесь, так как я 16-го числа (т. е. через неделю) выезжаю отсюда... Отчего я, к крайнему моему сожалению, не могу принять Вашего любезного «До свидания в Москве», так как к 26-му числу, дню Вашего выезда, я уже буду находиться в Буживале. Увижу я Вас не раньше будущего года, когда все нынешнее станет давно прошедшим, и Ваше положение, во всяком случае, будет упроченным... или объясненным. Но я уверен, что встречу Вас с теми же чувствами, и надеюсь, что найду и Вас неизменной. Как было бы хорошо, если бы Вы прислали мне телеграмму в Париж — или письмо! Буду ожидать.

Жизнь наша здесь после Вашего отъезда<sup>3</sup> порядком потускнела; к тому же, погода не балует нас: бог знает, что за мерзость совершается под небесами! После гадкого лета гадкая осень и вероятная близость зимы — это слишком! Меня так и тянет в Буживаль.

Поглядел бы я на Вас в ту минуту, когда провозглашали многолетие невесте! Во-первых, Ваше лицо всегда приятно видеть, а во-вторых, оно должно было быть особенно интересным — именно тогда. Когда мы увидимся (если увидимся), Вы мне все это расскажете с той тонкой и художественной правдивостью, которая

---

<sup>3</sup> Савина гостила в Спасском с 26 по 30 июля 1881 года.

Вам свойственна, и с той милой доверчивостью, которую я заслуживаю не как учитель (с маленьким или большим «у»), а как лучший Ваш друг.

Все наши Вам многократно кланяются, а я столь же многократно целую Ваши неудобозабываемые руки. То, что совершилось накануне Вашего отъезда, — помните, на террасе, за обедом, после шампанского, — еще труднее забыть; но я едва смею напоминать Вам об этом<sup>4</sup>.

Будьте здоровы, веселы, бодры и не забывайте  
Вашего **Ив. Тургенева**.

\* \* \*

19 августа 1881 года, с. Спасское-Лутовиново

Милейшая Мария Гавриловна!

Вы мне сообщили такие ужасы о Вашей почте, что я имею весьма слабую надежду, чтобы этот мой ответ на Ваше прелестное письмо вовремя дошел до Вас. Сегодня 19 августа, а Вы уезжаете 30-го! И Ваша почта ходит 12 дней! К тому же — на великое горе мне — просьба, которую Вы обращаете ко мне, не может быть исполнена: Вы выезжаете из **Сивы** (где эта **Сива**) 30-го... а я 30-го выезжаю в Буживаль — ибо покидаю Спасское завтра и в Москве остановлюсь всего 20 часов<sup>5</sup>. Из этого грустного факта вытекает для меня не менее грустный вопрос: когда и где я с Вами увижусь? И чем Вы будете тогда? Г-ой Всеволожской? По первому Вашему письму можно было так думать... а по второму ясно только то, что и **нынешнегодний** Ваш роман развеялся прахом... чему я очень рад — в **нынешнем** году.

<sup>4</sup> Тургенев вспоминает о поцелуе, которым наградила его Савина. Позднее он еще раз вспомнит о нем: «Вспоминаю... тот лучший и жгучий поцелуй, которым Вы и озарили, и обожгли меня во время обеда на балконе».

<sup>5</sup> Имеется в виду просьба Савиной о встрече в Москве.

Очень было всем нам приятно узнать, что Вы здоровы, бодры и не скучаете, и только одно неудовлетворительно: предназначенная Вам роль плоха<sup>6</sup>. Жозефина Антоновна<sup>7</sup> шлет Вам привет, а одна наша соседка, ее знакомая, узнав, что Вы были здесь и она упустила случай Вас видеть, чуть не удавилась с отчаяния.

Что же касается меня, то я хотя телесно еще здесь, но мысленно уже там — и чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской. Весной, полагаю, произойдет обратный процесс. Но что останется неизменным — это мое искреннее и глубокое чувство дружбы к Вам — и Вы очень меня порадовали, признав его искренность и серьезность. Надеюсь, что Вы не оставите меня без вестей о себе — Вы знаете мой адрес: Paris, Rue de Douai, 50, а я отзовусь тотчас. А пока целую Ваши милые руки и остаюсь

Ваш. Ив. Тургенев.

\* \* \*

(Seine-Oïse). Bougivai Les Frênes.  
7 июня 1882.

Милая Мария Гавриловна!

Ваше письмо из Сивы упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья. Переезд мой из Парижа сюда не принес ожидаемой благотворной перемены; напротив, мое здоровье значительно ухудшилось, и теперь я в таком положении, как в тот день, когда Вы простились со мной; только что ходить могу — подагра в ногах прошла, — но боли

---

<sup>6</sup> Вероятно, речь идет о роли в пьесе И. В. Шпагинского «В забытой усадьбе».

<sup>7</sup> Ж. А. Полонская — жена поэта Я. П. Полонского. Она по поручению И. С. Тургенева следила за хозяйством в Спасском.

в груди, в плече еще усилились, и я почти осужден на неподвижность — не могу поднять рук в уровень лица и т. д. Причиной ли тому скверная, сырая погода, которая стоит здесь с тех пор, как я переехал (скоро две недели тому назад), или вообще моя болезнь принадлежит к числу неизлечимых — в чем я почти убежден, — но факт остается фактом<sup>8</sup>. Бодрость духа во мне исчезла; в будущее стараюсь не заглядывать, и уже не позволяю себе мечтать о свидании с Вами. Зато я всем сердцем радуюсь — насколько может радоваться полуживой человек — что Вам хорошо, что Вы теперь отдыхаете душою и телом. Что же касается до Ваших планов (брака и пр.)<sup>9</sup>, я уверен, что в Вас довольно ума и сообразительности, чтобы избрать, как говорится, благую часть и принять лучшее для Вас решение. Вы хорошо сделали, что заключили контракт на два года<sup>10</sup>. Когда он начинается? С сентября?

Что до моих писем, то Вы можете делать с ними, что Вам угодно... То же самое, что Вы могли бы сделать со мной самим, если бы... если бы... Предоставляю Вам докончить эту фразу. Я знаю наверное, что, беседуя письменно с Вами, я беседую с Вами одною; но и без Вашего ведома чужая рука может как-нибудь коснуться этих листков... Впрочем, это все вздор — и я повторяю: делайте, что хотите.

Милый мой друг, я до того присмирел духом, что даже не позволяю себе размышлять о смысле следующих слов в Вашем письме: «Вспоминайте иногда,

---

<sup>8</sup> По определению врачей, Тургенев страдал болезнью «люмбаго» (невралгические боли в пояснице). Как показало вскрытие, он умер от рака спинного мозга, разрушившего у него три позвонка.

<sup>9</sup> Речь идет о браке Савиной с Н. Н. Всеволожским.

<sup>10</sup> Новый контракт Савиной с Дирекцией императорских театров был заключен с сезона 1882—1883 гг. на условиях 12000 руб. жалованья в год.

как мне было тяжело проститься с Вами в Париже<sup>11</sup>, что я тогда перечувствовала!» Знаю наверное, что, столкнись наши жизни раньше... Но к чему все это? Я, как мой немец Лемм в «Дворянском гнезде», в гроб гляжу, не в розовую будущность<sup>12</sup>.

Простите меня, что я пишу Вам такие невеселые вещи; но с Вами мне невозможно притворяться. Помните, что сквозь все это сказывается одно: что я Вас очень, очень люблю.

Вы мне ничего не написали о «военном человеке»<sup>13</sup>. Что? Он опять предстал перед Вами в Петербурге? Надеюсь, что Вы успели отклонить его. А новых ролей для Вас не готовится? Мне все кажется, что Вы еще не нашли настоящего, достойного Вас автора. Вы, вероятно, пролетели через Москву — и никого там не видели. (Вам известно, что бедный Маслов хоть и выздоровел — но от размягчения мозга стал идиотом.) А Стрепетову в роли Марии Стюарт (!!!) видели?

Ну, душа моя, прощайте. Напишите мне хоть раз еще из Вашей дали. А я тысячу раз целую Ваши руки и все, что Вы мне позволите поцеловать, и остаюсь навсегда

Ваш верный друг И. Т.

\* \* \*

9 июля 1882 года

Чуть не через целое полушарие перекидываемся мы нашими письмами, милая Мария Гавриловна! Очень

---

<sup>11</sup> Речь идет о последнем визите Савиной к Тургеневу в Париже, который состоялся 26 апреля (8 мая) 1882 года.

<sup>12</sup> Тургенев вспоминает слова Лемма из XXIII главы «Дворянского гнезда»: «...Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность».

<sup>13</sup> Речь идет о М. Д. Скобелеве (1843—1882), генерале, участнике русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

рад слышать, что мои доставляют Вам некоторое удовольствие; Ваши утешают меня в моем невеселом положении. Впрочем, душа моя сегодня особенно опечалена: вчера прибыло известие о смерти Скобелева. Долго не хотелось верить, что наш Ахиллес так рано погиб и что обманулись те, которые предсказывали ему великую будущность... Но я недаром сравнил его с Ахиллесом: и того тоже юношей похитила смерть, как и Александра Македонского... Несчастлива Россия в своих великих людях<sup>14</sup>. Наш народ, в глазах которого он был самым популярным современным лицом и скорбь которого будет велика и повсеместна, едва ли поверит в естественность его смерти... Я бы не удивился, если бы узнал, что немцы, его лютейшие враги, подверглись у нас избиению хуже еврейского... Но довольно об этом.

По всему тону Вашего письма видно, что Вам хорошо в Сиве, и я душевно этому радуюсь. Ни одним словом Вы не промолвились ни о Вашем браке, ни о Н. Н. А между тем я вычитал в газетах, будто все имение Н. Н. куплено Демидовым — сан-Донато. Правда ли это? Если да — то что же помешает Н. Н. жить там, где Вы жить будете, т. е. в Петербурге? Или, может быть, Демидов купил только заводы, а собственно имение (Сива) останется за Н. Н. Разъясните мне мое недоумение.

Что касается до меня, то никакой перемены не произошло в моей болезни, да и не могло произойти, потому что она, по общему отзыву докторов, принадлежит к числу неизлечимых. Я стараюсь привыкнуть к этой мысли и иногда утешаюсь тем, что ведь мог же я ослепнуть, как один мой приятель, блестящий полковник Энгельгардт, с которым это случилось в один

<sup>14</sup> М. Д. Скобелев умер скоропостижно 25 июля 1882 года в Москве в возрасте 39 лет.



день... Это тоже неизлечимо, но уже в тысячу раз хуже. Я по крайней мере могу думать, что когда-нибудь — когда, не знаю — увижу ваше милое лицо.

В Спасское я уже, конечно, не попаду в этом году — да, может быть, и в Россию. Полонские теперь собрались в Спасском; Жозефина Антоновна пишет мне оттуда очень дружеские письма и все зовет туда, говоря, как теперь там все хорошо устроено, и как меня все ждут, и какая у них чудесная погода. А у нас здесь она продолжает быть прескверной — дождь и холод; вчера и сегодня топились камины... пред-

ставьте. Зато все мы теперь здесь собрались — и все мы здоровы.

Я бы совсем не роптал, если бы не ночи, мучительные, бессонные ночи!

Хотя и без особенной практической цели, но я был бы Вам благодарен, если б Вы написали мне, когда именно, т. е. какого числа, Вы покидаете Сиву, когда прибудете в Москву и, наконец, в Петербург? Будете ли Вы играть в Москве? <sup>15</sup>

Прощайте, мой милый друг; целую много раз Ваши прелестные руки и прошу не забывать

Вашего старого больного друга И. Т.

P. S. Вы как-то обещали мне прислать слепок Вашей руки. Забыли Вы это или слепок еще не сделан? <sup>16</sup> На всякий случай напоминаю Вам.

\* \* \*

23 июля 1882 года

Милый мой друг! Ваше (третье) письмо почему-то несколько запоздало, и я получил его только вчера. Там есть выражение, за которое мало поцеловать Вашу руку, а надо предварительно стать на колени, что я и делаю.

Насчет моего здоровья скажу Вам, что оно как будто начало поправляться, но я уже изверился и не позволяю себе предаваться надеждам, так как, в сущности, неизвестность исхода остается все та же, и я все-таки никаких предположений делать не могу. Не о смерти я думаю — с этой болезнью можно прожить долгие годы — а о том, что в нынешнем году я осужден на неподвижное прозябанье... Но полно

<sup>15</sup> Савина вернулась из Сивы в Петербург в августе 1882 года. В Москве она на сцене не выступала.

<sup>16</sup> Слепок руки Савиной хранится в Ленинградском государственном театральном музее.

об этом! Что будет, то будет, а пока нечего заглядывать вдаль.

Все эти дни я нахожусь под удручающим влиянием страшного известия о катастрофе на Курской дороге<sup>17</sup>. Этот ужас произошел в нескольких верстах от Спасского. Полонские, которые теперь все в Спасском, сообщают мне подробности, от которых сердце леденеет. Ничего подобного еще не бывало. По всем вероятностям, в этом крушении погиб один мой двоюродный племянник, Н. Н. Тургенев, прекрасный малый, которого я еще в прошлом году видел студентом в Москве. И какой мучительной смертью погибли все эти несчастные! Кстати, о смерти. Вот и Вашего героя, М. Д. Скобелева, не стало. Судьба не щадит великих русских людей, но в этом случае она уже слишком жестоко надругалась над нами, заставив этого героя умереть... в доме терпимости!!! Великое и тяжкое горе для всех русских.

Однако что за траурное письмо пишу я Вам? Поговорю лучше о Ваших ролях. За «Снегурочку» я не боюсь, хотя Вы и говорите, что этот поэтический образ к Вам не подходит (почему это?). Я уверен, что вы будете в нем прелестны. Но вот трагедия в стихах...<sup>18</sup> Вы стихи не так хорошо читаете. И знаете почему? Вы словно их боитесь и произносите их с каким-то уважением к ним и не с той естественностью, которая Вам присуща. Вы впадаете в несколько однообразный тон, в так называемую дикцию. Со стихами не нужно церемониться (особенно с аверкиевскими!), а только сохранять размер, не переставлять слов и

---

<sup>17</sup> 28 июня 1882 года пассажирский поезд потерпел крушение близ деревни Кукуево (ст. Бастыево) на перегоне Мценск — Чернь Московско-Курской железной дороги. Было много человеческих жертв, в числе погибших был сын двоюродного брата Тургенева.

<sup>18</sup> Речь идет о роли Зорицы в трагедии Д. В. Аверкиева «Трогировский воевода», которая была сыграна Савиной в первый раз в Александринском театре 23 января 1883 года.

т. п. Вы видите, что я даже к Вам могу относиться критически. Мне кажется, что, если бы я мог прочесть эту роль с Вами, я бы принес Вам некоторую пользу. Во всяком случае, мне было бы это очень приятно... Но и это, как и многое другое, надо отнести к области невозможных мечтаний.

Вы мне опять ни слова не говорите о Н. Н. Впрочем, по Вашему письму видно, что Вы еще не получили моего **последнего** письма и потому не могли еще отвечать на некоторые вопросы, поставленные мною. Вы мне также ничего не говорите о Вашем здоровье; я принимаю это молчание за хороший знак: значит, Вы Вашим здоровьем довольны, и это меня радует.

Однако пора кончать. Вы, несомненно, знаете, что я крепко люблю Вас — но мне приятно повторить это — и столь же приятно — хоть мысленно — поцеловать Вас со всею нежностью, которую Вы только позволите.

Остаюсь Ваш искренний друг **Ив. Тургенев.**

\* \* \*

27 июля 1882 года

Милая Мария Гавриловна! Сию минуту получил Ваше письмо от 10 июля (оно шло 17 дней!) и немедленно отвечаю. Вы жалуетесь, что я Вам давно не писал, но я отвечал всегда аккуратно... Расстояние больно велико! Прежде всего, позвольте поздравить Вас не столько с браком, сколько с выходом из ложного положения, которое Вас тяготило. Именно в этом смысле я и говорил, что доверяю Вашему благо разумию. Искренне желаю (и надеюсь, что мое желание исполнится), чтобы Вы никогда не раскаялись в своем решении. Это могло бы произойти в случае, если бы Н. Н. не сдержал своего слова оставить Вас

на сцене (на что он, как муж, имеет теперь право)<sup>19</sup>. Но для этого Н. Н. — *trop gentleman*<sup>20</sup>. Благодарю Вас также за обстоятельные ответы на другие мои вопросы. Вы так же милы и любезны, как всегда, и Ваш друг к Вам привязан тоже более, чем когда-либо.

Положение этого друга продолжает быть неудовлетворительным. Меня с неделю тому назад посадили на полное молочное лечение (кроме молока, ничего в рот не беру), и хотя мне как будто легче, боли не так несносны, но собственно болезнь сидит во мне, как гвоздь. О поездке — даже осенью — в Россию думать нечего; хоть бы зимой удалось! То-то я буду рад, когда увижу Вас в Петербурге!.. Да и Вы будете рады — видите, какой я самонадеянный человек!

Полонские мирно живут в Спасском и пользуются там превосходной погодой, а мы продолжаем страдать от холода. Сегодня я чуть-чуть не велел затопить камина. Вся здешняя молодежь разъехалась... мы, старички, одни остались. Что делать! Каждому своя очередь.

За работу также не могу приняться. Эта проклятая невралгия подсекла меня под самый корень. Жозефина Антоновна, которой я писал, что я человек похеренный, никак не хочет этому верить... Увы, я начинаю думать, что я даже более похерен, чем сам предполагал.

Но полно об этом грустном предмете. Мне очень приятно, что Вы даже не упоминаете о своем здо-

---

<sup>19</sup> Речь идет о браке Савиной с Н. Н. Всеволожским, которым завершился их пятилетний роман. 19 июля 1882 года Савина писала из Сивы А. В. Топорову, доверенному лицу И. С. Тургенева: «4 июля в 9 ч. вечера самым скромным образом свершился обряд в нашей деревенской церкви. Уверена в своем счастье, так как сцену не брошу и, переменяв фамилию, остаюсь все-таки Савиной». В дальнейшем Всеволожский потребовал, чтобы Савина оставила сцену. Брак их оказался для Савиной несчастлив, и в 1891 году она вынуждена была пойти на его расторжение.

<sup>20</sup> Слишком джентльмен (фр.).

ровье... стало быть, Вы расцвели и цветете, как роза. Наберитесь сил для будущего сезона, будущих ролей, и, может быть, я буду так счастлив, что увижу Вас в одной из них.

Спасибо за обещание выслать гипсовую руку; а пока целую не гипсовую, а живую — и сверх того всё то, что Вы, при новом Вашем положении, согласитесь предоставить моим ласкам. Еще раз желаю счастья, веселья и всего хорошего.

Ваш друг **Ив. Тургенев.**

P. S. Пока пишу Вам на адресе: Савина. Как прикажете писать впредь?

Владимир Галактионович

КОРОЛЕНКО

(1853—1921)

Человек высокой духовной активности, прямой и честный, Короленко чутко отзывался на развитие освободительного движения в России. Любовь к русской литературе, проникнутой идеями добра и справедливости, обостряет его гражданские чувства, и он остро реагирует на несправедливость официальных представителей власти: то он составляет коллективный протест против незаконных действий администрации Петровской земледельческой академии, в которой учится (за это Короленко был в 1876 году исключен из академии и отправлен на год в ссылку под надзор полиции сначала в Вологодскую губернию, затем в Кронштадт), то вместе со своими братьями разоблачает секретного агента полиции и снова высылается в г. Глазов Вятской губернии (теперь Кировская область).

Через пять месяцев по рапорту исправника, просившего губернатора избавить его от беспокойного поселенца «в отвращение влияния его самостоятельных и дерзких склонностей на других политических ссыльных», Короленко переводится в глухую деревню Березовские Починки. Вскоре по проискам тамошнего урядника за мнимую «самовольную отлучку», квалифицированную как побег, его отправляют в Восточную Сибирь. О жандармском подлоге он узнает в Томске, откуда его вскоре переводят на жительство в Пермь, где он живет с сентября 1880 года по август 1881-го и служит на железной дороге табельщиком и письмоводителем.

Живя в Перми, Короленко организует политический кружок, который посещают молодые чиновники и гимназисты старших классов.

После убийства народовольцами Александра II от политических ссыльных в Перми потребовали письменной присяги на верность новому царю Александру III; Короленко отказался подписывать ее. Осознавший себя врагом самодержавия и мысленно готовый «содействовать перемене этого строя на лучший», он и формально не пожелал поступиться своими убеждениями. В пись-



ме пермскому губернатору Короленко мотивировал свой отказ тем, что «совесть запрещает» ему присягать общественному порядку, поощряющему насилие и произвол. В ответ на это Короленко в августе 1881 года вновь арестовывают и ссылают в Якутию, где он прожил до сентября 1884 года.

Приведенные ниже письма Короленко, написанные в Перми, раскрывают его как мужественного борца против насилия и произвола, царящего в самодержавной России.

## В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «МОЛВА»<sup>1</sup>

Возвратясь из очень дальних странствий в лоно культурной и общественной жизни, я, кажется, более чем кто-либо способен почувствовать и оценить перемены, которые застаю в этой жизни. И хотя, как увидите ниже, я, быть может, имею некоторое законное право отнестись скептически к глубине и прочности этих перемен, тем не менее пока факт остается фактом, и это дает мне надежду на разрешение некоторых вопросов, с которыми я до сих пор тщетно стучался во многие двери. На мою долю выпало сомнительное счастье вынести на собственной шее замечательно полный и совершенно законный цикл административных мероприятий, и я думаю, что моя короткая одиссея представляет как бы в фокусе совершенно цельную картину из этой интересной области, начиная с высылки без объяснения причин из столицы и кончая после нескольких ступенек ссыльной карьеры (ссылка в уездный город, затем в глухой лесной угол) — назначением в Сибирь, в самые отдаленные места, именно Якутскую область. Интереснейшей и не лишенной трагизма чертой этой одиссеи является то обстоятельство, что ни разу, спускаясь со ступеньки на ступеньку, я не знал, чем вызвана эта перемена в моей судьбе.

Дело началось с двух обысков, во время которых «ничего предосудительного не найдено». Затем — арест всех мужчин нашей довольно многочисленной семьи, затем я с братом очутился в Вятской губернии, где обратился с первым вопросом: за что?

Попали мы в город Глазов, где я жил около пяти месяцев, причем наше тихое существование не преры-

---

<sup>1</sup> Перепечатывается из газеты «Молва» от 12 октября 1880 года.

валось ни одним из ряда выходящим столкновением с начальством, в отношении к которому я ни разу не выступил ни на шаг, ни на йоту из чисто легальных форм. Раз мне пришлось апеллировать к министру на одно из решений в отношении ко мне г. губернатора, и мое заявление было уважено. В другой раз я, в условленном порядке, жаловался на замедления в переписке моей со стороны исправника. Все это в совершенно законном порядке и форме, и лично с г. исправником мы не обменялись ни одним резким словом. Так дело шло ровно и тихо, пока мою квартиру опять посетил г. исправник с понятиями — «с целью (буквальное выражение) разыскать подозрительные рукописи и запрещенные книги». Таковых не найдено, тем не менее мне объявлено, что я высылаюсь в Березовские Починки, и мне осталось только вновь предложить вечно остающийся безответным вопрос: за что?

Березовские Починки как место ссылки заслуживают того, чтобы на них остановиться подольше. Едва ли вы найдете их на самых подробных географических картах. Расположены они по верховьям р. Камы, в том месте, где эта река течет еще на север и где она пересекается границей Слободского и Глазовского уездов, — в 30 верстах от уезда Чердынского, родины Пилы и Сысойки. В Вятской губернии это место известно чуть не всем и каждому понаслышке как последняя ступень ссылки. Да и в самом деле, кажется, трудно найти еще уголок, который показался страшным тому, кто побывал в этих Починках. Это не село, не деревня даже, это просто несколько отдельных дворов, рассеянных на расстоянии приблизительно 15—20 верст, среди лесной и болотистой местности. В одном месте торчит одинокая избушка, занесенная снегом (я был там зимой), в другом — две, версты за 2—3 еще одна

или две и т. д. Средоточием этого поселения служат 4 двора, которые починовцы величают деревней. «Мы край света живем», — говорят о себе починовцы. Летом в Починки пробраться можно только верхом, — телег с колесами починовцы не употребляют. Если с вами есть кладь (хлам, по выражению починовцев), то этот хлам вам перевезут в лодке или в санях летом по суше! Население — те же подлиповцы. Давно уже, еще «при дедах», выселилось несколько семей в эти места, огражденные лесами да топями от внешнего мира, и поэтому они остались при известном уровне потребностей, ниже среднего. Мне, например, отвели для жительства курную избу, так как нельзя было найти подходящей «белой». Знаете, что значит курная изба? Это изба без трубы; дым, когда затопят, «пыхает» прямо в избу и наполняет ее от потолка до пола. Чтобы была возможность дышать, отворяют волоковое оконце, но этого мало. Еще открывается дверь, и тогда морозный воздух выбивает дым на уровень головы, и он стоит вверху, колышется густой, резко ограниченной пеленою. Если подняться во весь рост, голова в дыму. Таким образом устанавливается своего рода равновесие: голове жарко, зато ноги стынут от 30—40-градусного мороза. Это продолжается около  $\frac{3}{4}$  часа, после чего двери закрываются, и в потеплевшую избу впускают скотину. Лошади, коровы, овцы чередуются друг с другом, оставляя на полу очень заметные следы своего пребывания...

Когда в Починки является новый человек, его сначала немного дичатся. Ребята и подростки жмутся по углам, пугливо наблюдая за вашими движениями. Но вот кто-нибудь из них посмелее решается подойти, пощупать вашу одежду. Тогда все остальные тоже бросаются к вам, и начинается подробный осмотр, от которого вам придется отбиваться чуть не силой. Вдо-

бавок ранее в Починки высылались уголовные ссыльные, которые не умели ужиться, совершали кражи, поджоги и т. д. Поэтому с первого же шага всякого ссыльного встречают недружелюбно, чуть не враждебно. Меж тем вятская администрация считает возможным сослать туда даже молодых девушек! В Пудуже из-за одной прогулки за город произошло столкновение между полицией и ссыльными, которое разыгралось чуть ли не вооруженным сопротивлением, по отзывам полиции (оружие — грибы и ягоды в руках девушек, да и это оружие не было пущено в ход). Суд, разобрав это «дело», присудил участниц к месячному тюремному заключению, а административный порядок препроводил их в Вятскую губернию, оттуда одну, г-жу Э. У-ую<sup>2</sup>, привезли в Починки во время моего пребывания, а госпожу О. К-ую<sup>3</sup> отправили в деревню в Котельническом уезде. В Починках мы с г-жой У-ой дали подписку о невыезде из деревни. Но вот в один прекрасный день урядник заявляет нам, что мы не имеем права посещать друг друга в пределах Починков, вообще можем ходить только по земле хозяина, у которого живем. Это распоряжение урядник передавал от лица станового и исправника. Но как бы то ни было, в Починках мы жили ровно и тихо, в полном согласии с населением, вдали от начальства, и даже я лично находил в своем положении много хороших сторон, из которых важнее прочего была приятная уверенность, что, по-видимому, для меня нельзя отыскать никакого другого сюрприза. Увы! Человеку свойственно ошибаться! Сюрприз нашелся.

---

<sup>2</sup> Эвелина Людвиговна Улановская (1860—1915) — революционерка-народник. Некоторые ее черты отразились в образе революционерки в очерке «Чудная».

<sup>3</sup> Фамилию установить не удалось.

В одну не особенно прекрасную зимнюю ночь ко мне неожиданно явились с испокон века невиданные в Починках жандармы. Мне пришлось собрать свои пожитки, инструменты (в Починках я занимался ремеслом) и тронуться в путь. Куда?

Меня привезли в Вятку и посадили в острог, где я просидел 15 дней. Губернатора в то время не было. Меня встретил новый полицмейстер, заменивший прежнего, который из-за каких-то «неприятностей» принужден был «оставить» должность. В противоположность с прежним, человеком невежливым и грубым, «новый» был холодно вежлив, деликатен и тонкодипломатичен. На первых же порах он счел за чем-то нужным намекнуть мне, что я получаю «повышение» и перевожусь в губернский город. О, злая ирония! Тут, конечно, мне не пришлось даже предлагать обычного вопроса: за что? Ибо ответ сам собой разумелся: «За долготерпение». Между тем, пока я колебался между различными недоразумениями и сомнениями, г. полицмейстер, хотя секретным образом, но очень предупредительно, занялся упаковкой моих вещей для дальнего путешествия. И вот в 15-й день моего заключения мне заявляют: «Пожалуйте! Собирайтесь!»

— Куда?

Вежливый поклон и выражение дипломатического сфинкса. Я понял, что стало быть, это «не мое дело», и вопрос о том, куда меня везут, до меня не относится.

— Но позвольте, — я ведь просил позволения уложить мои вещи, привести их в порядок.

— Уложены и запечатаны.

Стало быть, и это кончено без меня. Конечно, думается мне, я имел бы некоторое право присутство-

вать при том, как роют и перерывают мои собственные вещи, но, очевидно, я заблуждаюсь.

И вот я в Вышне-Волоцкой тюрьме, а оттуда одна дорога — в Сибирь. «Наконец, — успокаиваюсь я, — кажется, нечего больше ожидать невозможного, конец сюрпризам». Я предлагаю еще раз вопрос: за что? и уже окончательно успокаиваюсь, не получив никакого ответа.

Однако вятская администрация превзошла сама себя.

В ее распоряжении оказался сюрприз, который разразился совершенно неожиданно, долго спустя после того, как я расстался с нею...

Считаю нужным отметить еще один факт. В Вышний Волочек накануне пасхи явился и наш член верховной комиссии князь Имеретинский<sup>4</sup>. Он беседовал с каждым из нас, в том числе и со мною. На вопрос князя, за что я высылаюсь, я ответил тем же вопросом. Признаюсь, разрешение этого вопроса было верхом моих ожиданий. Я полагал, что никто не может ответить на него фактами, которых бы я не пытался опровергнуть, если бы... знал их. Разве они остаются «в секрете», — как быть? Я мог только заявить, что так как я ни перед кем не исповедовался в своих убеждениях, то удивляюсь, на чем основано заключение о необходимости моего переселения в столь дальние страны. Я был уверен, что не «слово» и не «дело» послужило к этому поводом, оставалось, значит, «помышление», уловленное, очевидно, «чтением в сердцах».

Но я опять ошибался. Причиной моей высылки оказался факт со всеми свойствами обязательного, кон-

---

<sup>4</sup> Имеретинский Александр Константинович — князь, генерал, член Государственного Совета.

кретного факта. Уже в пути пришлось мне узнать, что я высылаюсь «за побег!». И притом с упоминанием об указе от 8 августа 1878 года. Стало быть, с перспективой Якутской области! И вдобавок узнал я об этом случайно, знать мне тогда еще вовсе не полагалось и ссылаться на это я не мог! Не кажется ли вам, что едва ли жизнь может придумать что-либо трагичнее положения, в котором я очутился. Представьте, **ведь я никакого побега не совершал!** Да и не думал. Из Глазова я выехал по распоряжению г. исправника, распоряжение это объявлено при понятых, с меня взяты соответственные подписки, ехал я на казенный счет. Из Починков взят жандармами с собственной квартиры, которая указана местным волостным начальством, взят тоже при этом начальстве и понятых. Даже за самовольную отлучку (за которую приговаривали других ссыльных к месячному штрафу) ни разу не судился. Когда же я бежал с места ссылки? Это вопрос...

Тут уже, конечно, идти было некуда, и в моей судьбе должен был произойти перелом.

И он произошел действительно: в томской пересыльной тюрьме мне и еще нескольким лицам объявили, что мы возвращаемся в Европу; пятеро на условиях полного освобождения, другие пятеро (и я в том числе) в распоряжение губернаторов Европейской России.

Теперь я в Перми, в условиях сравнительно сносных. Кажется, сколько мне по крайней мере известно, г-жа У-ая все еще находится в тех же Починках, а г-жа К-ая — в Котельнице.

В заключение я пользуюсь случаем, чтобы спросить у вятской администрации, когда же, в какой день и час совершил я побег, за который чуть было не попал в Якутскую область? И если не попал, то уж в

этом, конечно, не она виновата, а случайность! А ведь это, шутка сказать, не близко!

**Владимир Короленко**  
г. Пермь

**Э. И. Короленко и М. Г. Лошкаревой**<sup>5</sup>

20 декабря 1880 года, г. Пермь

С Новым годом!

Сейчас получил ваше письмо от 26 ноября. Я редко задерживаю ответ дольше трех дней, а иногда пишу и не ожидая вашего письма. Стало быть, если вы не получаете долго писем, то виновата, вероятно, почта. От Вели<sup>6</sup> также не получается их по той же, вероятно, причине. Она, в свою очередь, жалуется на вас за молчание. Юлиан<sup>7</sup> писал вам раза 2—3 и ждет ответа. Один Перчик<sup>8</sup>, вероятно, действительно заленился. Я тоже давно от него писем не получаю. Впрочем, это имеет, быть может, и другую причину: вятского губернатора все тревожат в газетах, и он принял меры, чтобы переписка вся шла через его канцелярию, а там чуть что, совсем задерживают письма. Я послал Перчику заказное письмо, и если еще несколько дней не будет ответа, я обращусь с жалобой к министру. Недавно я получил через губернатора 3 рубля от него — без письма, которое, очевидно, задержано.

Мое сапожничество не вывезло: простые заказы

---

<sup>5</sup> Э. И. Короленко — Эвелина Иосифовна, мать писателя. М. Г. Лошкарева — Мария Галактионовна, сестра В. Г. Короленко.

<sup>6</sup> Велия — Эвелина Галактионовна.

<sup>7</sup> Юлиан — Юлиан Галактионович, старший брат В. Г. Короленко.

<sup>8</sup> Перчик — семейное прозвище Иллариона Галактионовича Короленко.

исполняю хорошо, но таких мало, а затейливых городских заказчиков удовлетворить не могу. А главное, работаю тихо. Вследствие этого и из многих других соображений поступил на железную дорогу. Жалование — 40 рублей, за квартиру и стол придется около 20, стало быть, около 20 будет оставаться. Итак, в течение месяцев 3—4 могу присылать вам одновременно известные суммы (начну не раньше 1 февраля). Вообще это время посвящу финансовым вопросам: докончу несколько очерков, напечатание которых вполне обеспечено. Вам, вероятно, уже писал Юлиан, что мой очерк<sup>9</sup> принят редакцией очень благосклонно (даже тремя редакциями, последовательно сменявшими друг друга в «Слове»), и я даже нежданно-негаданно получил от «Нового обозрения» предложение постоянного сотрудничества. Я имел в виду несколько тем, которые уже обдуманы, поэтому на предложение согласился, так как оно представляет для меня удобства особого рода. Оказалось, однако, что «Новое обозрение» выходит под цензурой, первый мой очерк напечатан в «Слове», что обязывает отдать туда и дватри следующие, находящиеся с ним в связи, а тот, который я назначил для нового журнала (теперь уже почти законченный), может и не выдержать цензурного крещения; стало быть, и его чуть ли не придется отдать в «Слово». Положение мое относительно «Нового обозрения», таким образом, довольно затруднительное. Если в самом деле цензура слишком строго отнесется к моей работе (заглавие «Временные обитатели подследственного отделения»<sup>10</sup> — сцены из тюремной жизни, группирующиеся около одного глав-

---

<sup>9</sup> «Ненастоящий город», напечатанный в журнале «Слово» в ноябре 1880 года.

<sup>10</sup> Рассказ был напечатан в журнале «Слово». — 1881. — Кн. 2. В собрание сочинений издателя А. Ф. Маркса рассказ вошел под заглавием «Яшка».

ного лица — сектатора), то придется придумывать нарочно какую-нибудь тему для «Нового обозрения». Дело весьма глупое и настолько несносное, что я еще более утвердился в намерении — никогда не отдаваться специальной литературной работе.

Как бы то ни было, в материальном отношении выгодно: я уже получил 110 рублей. Из этой суммы Веля взяла себе 40, остальное я употребил на уплату сделанного здесь долга, на покупку платья, необходимого для получения работы, и, наконец, проживу до жалованья, которое получу только 20 января. Значит, будущее очищено от всяких долгов, а проживать буду мало. В течение тех 3—4 месяцев (не более 6 месяцев), в которые буду на службе, могу вам высылать рублей по 15 в месяц — **наверное**. Кроме того, надеюсь собрать некоторую сумму, необходимую мне лично для моих планов, и, наконец, — для наших общих планов — также надеюсь запасти хоть часть (для переезда вашего в случае возможности в Европу и т. д.). Вот вам точное положение наших общих дел. Это не предположения, а точные сведения, и я скорее уменьшаю, чем увеличиваю цифры. Одним словом, за это время выжму денег, сколько буду в состоянии.

Почему Петя не написал, по обещанию, «длинного и обстоятельного письма»? Как ему живется? Наверное, плохо. Напишите. Впрочем, я рассчитываю на него, — он сдержит, наверное, свое обещание.

Пока — обнимаю вас всех крепко, крепко. Адрес мой: Угол Большой Ямской ул. и Воскресенского пер, дом Фефелина. Или: в Управление Уральской горно-заводской жел. дор., Влад. Короленко.

Еще раз обнимаю. До свидания. От Васи получил на днях письмо: завален работой, всё разъезжает. Хо-

чет отдохнуть на праздники, для чего и собирался к своим.

**Ваш Владимир Короленко.**

Кстати, на ваших конвертах стоит печать Енисейского губернского управления. Не лучше ли и письма адресовать в губернское управление? Не скорее ли будет? А то, вероятно, теперь они от г. полицмейстера пересылаются ранее в это управление, что требует времени.

**Пермскому губернатору**

Июнь 1881 года, г. Пермь

Его превосходительству  
господину пермскому губернатору  
сосланного административным  
порядком Короленко Владимира  
Галактионовича  
заявление.

**Ваше превосходительство!**

Так как я желал бы, чтобы побуждения, руководящие мною при подаче этого заявления, явились в настоящем свете, поэтому позволяю себе восстановить отчасти известную уже Вашему превосходительству фактическую сторону дела, подавшего к нему повод.

Мне был предложен местной администрацией вопрос, где я принимал присягу на верноподданство. Я ответил, что вместе с другими жителями Перми присутствовал во время панихиды и присяги в местном Соборе, а также в часовне Уральской железной дороги. Но так как я нигде не подписал формулы присяги, то мне и другим ссыльным выдан присяжный лист для принятия присяги отдельно.

Из этого, я полагаю, видно, что я не смотрел на настоящий случай как на повод для какого бы то ни было протеста в этой форме; наоборот, я сделал все, что считал возможным, для того, чтобы вопрос этот остался просто делом моей совести и не выходил бы из ее пределов. Но раз я, в качестве ссыльного, вызван, так сказать, из ряду и вопрос поставлен передо мною прямо с требованием ответить, я даю этот ответ согласно со своею совестью.

Я сослан без суда и следствия, без приговора. Вместе со мною сосланы брат<sup>11</sup>, двоюродный брат<sup>12</sup>, зять<sup>13</sup>; сестра и мать отданы под надзор полиции в г. Красноярске; семья, лишенная всех работников, разбита; двоюродный брат, мальчик 19—20 лет, сошел под влиянием ареста и ссылки с ума. Принимая относительно целой семьи такие жестокие и страшные меры, нам не дали возможности не только представить какие-либо оправдания, нам даже не заявили, в чем нас подозревают, и относительно всего этого дела (?!) мне доступны лишь самые смутные предположения и несомненное убеждение, что все основания высылки, несомненно, ложны... Я полагаю, что если бы кто-нибудь дал себе труд рассмотреть мое дело, то мог бы убедиться, что подозрения против меня давно опровергнуты. А между тем, вся семья раскидана по разным углам, и административный порядок продолжал свое дело. Прожив около восьми месяцев в Вятской губернии, где, опять без объяснения причин, испытал ссылку в самые глухие углы, я наконец был выслан в Сибирь. Все мои вопросы остались без ответа, на этот раз я понимаю это умолчание, ибо имел дело с административным подлогом. Случайно я уз-

<sup>11</sup> Илларион Галактионович Короленко.

<sup>12</sup> Александр Казимирович Туцевич.

<sup>13</sup> Николай Александрович Лошкарев.

нал, что ссылаюсь за побег с места ссылки, за побег, никогда не совершенный. Я был водворен на жительство местной администрацией, взят с этого самого места присланными за мной жандармами, ни разу нигде не был даже арестован за отлучку с назначенного мне места пребывания — и тем не менее сослан в Сибирь за побег. Я не могу видеть в этом ничего иного, кроме расчета на то, что в инстанции, которые являются окончательными решителями административных приговоров, достигает голос лишь одной стороны, а эта сторона часто руководится побуждениями личной неприязни и мести.

Возврат мой из Сибири был следствием разговора моего с князем Имеретинским, приехавшим в Вышний Волочек для рассмотрения дел ссыльных административным порядком лиц. Но так как даже князь Имеретинский не имел никаких сведений о причинах первоначальной моей ссылки, то по возвращении из Сибири я опять отдан под надзор полиции. Таким образом, в результате ложного сообщения о моем побеге оказались для меня: пятимесячное строгое тюремное заключение, тяжелый путь под конвоем до Томска и обратно и затем я возвращен в те же условия, получив как милость то, что составляет лишь акт (неполный даже) справедливости восстановление ложно нарушенного права. Таким образом, этот опыт, даже при стечении благоприятных для меня обстоятельств, доказал лишь, как опасно вступать хотя бы в совершенно законные пререкания с вятской администрацией и как безопасно последней делать, при настоящих условиях, ложные донесения.

К сожалению, я не могу смотреть на все, происходящее со мною, как на пример исключительный. Я видел сотни таких же примеров. Тот же приезд князя Имеретинского (явление первое и последнее в этом

роде) обнаружил в Вышнем Волочке факт ссылки за побег из Архангельской губернии человека, который никогда не был ни в Архангельской губернии, ни вообще в ссылке. Я знаю случай, когда полицмейстер, перед отправлением партии ссыльных, без дальних околичностей, переправил в списке имя одного из назначенных к высылке, и таким образом Владимир отправлен в Восточную Сибирь вместо Андрея, — для сокращения переписки. Я видел 70-летнего старика, сосланного за проступок, который мог в худшем случае повлечь штраф от 1 до 5 рублей по приговору мирового судьи. Сын этого старика сослан лишь потому, что в ночь ареста ночевал у отца на квартире. Я мог бы привести множество фактов в том же роде, с точным указанием имен и всех данных, но думаю, что это излишне.

Из этого следует неопровержимый и несомненный вывод: законным властям дано опасное право — право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, что они злоупотребляли этим правом. Произвол вторгается во все отправления жизни, часто самые честные и законные, и, задушив эти стремления в лучших проявлениях, отклоняет жизненные течения с пути идейной переработки и закона на путь личных столкновений. Он порождает тот разлад между законным требованием и требованием совести, который я решаюсь выразить в настоящем случае.

Ввиду всего изложенного выше, я заявляю отказ дать требуемую от меня присягу. Я не считаю уместным давать какие бы то ни было указания или ставить условия, но считаю своим нравственным правом указать мотивы, по которым совесть запрещает мне произвести требуемое от меня обещание в существующей форме.

Имею честь просить Ваше превосходительство дать

соответствующее направление моему настоящему заявлению<sup>14</sup>.

**Владимир Короленко**

**ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГИ  
«ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННОКА»<sup>15</sup>**

...Наконец по Уральской железной дороге мы приехали в Пермь<sup>16</sup>. Полицмейстер, высокий худощавый человек желчного вида, тотчас же отправился с нами к скромному одноэтажному губернаторскому дому. Нас ввели прямо в гостиную, где нас встретил губернатор Енакиев. Это был человек средних лет с оригинальной наружностью: полный, с довольно большим животом, с выдающимся резким профилем, без признаков растительности. Эта фигура как будто сошла с какого-то дагерротипа XVIII столетия, изображавшего екатерининского вельможу.

Он принял нас с удивившим меня радушием. Пригласив остальных в столовую, он остался в гостиной со мной одним.

— Вы назначены под надзор полиции ко мне, в Пермскую губернию, — начал он. — Но Пермская губерния велика, и я не знаю, что мне с вами делать: оставить вас в губернском городе или послать в Чердынский уезд. Сведения о вас, по отзывам вятской администрации, ужасные.

---

<sup>14</sup> Отказ Короленко от присяги Александру III поступил на рассмотрение директора департамента полиции В. К. Плеве, доклад которого по этому делу был утвержден министром внутренних дел. В результате этого доклада Короленко был арестован и 11 августа 1881 года выслан из Перми в Восточную Сибирь. За участие в проводах Короленко группа местных политических ссыльных получила новые сроки ссылки.

<sup>15</sup> Для данной публикации использованы отрывки из второй и третьей частей третьего тома.

<sup>16</sup> Вместе с В. Г. Короленко в Пермь были сосланы супруги Вноровские с грудным ребенком, В. П. Рогачева с младенцем, Осинская и Ф. И. Донецкая.

Я улыбнулся.

— Это зависит от вас, и Чердынский уезд меня не пугает.

Он посмотрел на меня пристальным взглядом своих круглых глаз и сказал:

— Мне почему-то кажется, что сведения вятской администрации ... преувеличены.

Я поклонился и ждал.

— И если вы обещаете мне, что будете вести себя соответствующим образом, то я предпочел бы оставить вас в Перми.

— А что я должен разуместь под соответствующим поведением?

— Видите ли... Прежде всего, какие знакомства вы заведете. Есть люди, не поддающиеся никакому вредному влиянию... Например, я или мой приятель, начальник жандармского управления, ну и еще другие в таком же роде... Но если вы станете сближаться, например, с учащейся молодежью...

— Я попрошу вас в таком случае сразу отправить меня в Чердынь, — сказал я. — Я не могу смотреть на себя как на зачумленного и, соответственно с этим, оберегать кого бы то ни было от своего вредного влияния. Знакомиться я буду со всеми, кто мне покажется интересным и кто этого пожелает... А полезно или вредно знакомство со мною, судить не мне.

Человек XVIII столетия с интересом и вдумчиво выслушал меня и сказал:

— Вы правы... Я вижу, что вы говорите откровенно... Остается еще одно. Из Перми чуть не ежедневно ходят пароходы... Если вы обещаете мне, что не воспользуетесь этим обстоятельством для побега, то дело можно считать конченным.

Я невольно задумался, а Енакиев, с любопытством поглядев на меня, прибавил:

— Имейте в виду. Внутреннее положение России, по-видимому, скоро должно сильно измениться. Я уверен, что, если вы не подадите с своей стороны особых поводов, ваше пребывание под надзором скоро должно прекратиться, и вы будете свободны.

— Хорошо. Даю слово, что бежать не намерен.

— Ну, дело, значит, решено. С этой минуты вы свободны. Если вам угодно пробыть еще некоторое время с вашими товарищами, пока полицмейстер подыщет им комнату в гостинице, то милости прошу...

И он указал мне на соседнюю дверь. Она вела в столовую, где я застал нашу компанию за чайным столом. Донецкая сидела за самоваром, разливая чай, а оба младенца, распеленатые, лежали на роскошной кушетке, на которой были разбросаны пеленки.

— Ну, что скажете? — весело спросила Донецкая, когда Енакиев вышел.

Я недоумевал...

— Конечно, может быть, это только личные особенности здешнего губернатора, похожего на человека екатерининских времен... Но... все-таки знаменательно и странно.

Через некоторое время явился полицмейстер и сообщил, что номер и гостинице готов, и мы отправились туда, попрощавшись с губернатором.

...Через несколько дней я нашел себе квартиру в пригородной слободке, на улице, которая, кажется, называлась Односторонкой<sup>17</sup>. Ряд домиков глядел прямо на широкий пустырь. У мелкого лавочника, бывшего кантониста-еврея, женатого на христианке, я нашел маленькую комнатку, на окне которой тотчас же вывесил изображение сапога из сахарной бумаги,

---

<sup>17</sup> Улица Соликамская (ныне улица М. Горького), дом № 59. Дом не сохранился. Вскоре Короленко переехал на другую квартиру — в дом № 2 по Б.-Ямской улице (ныне улица Пушкина).

чтобы известить, что в слободке поселился новый сапожник.

Почему я сделал это? На этот вопрос точного ответа дать не могу. Когда-то, до своей ссылки в Вятскую губернию, я мечтал вместе с братом и Григорьевым<sup>18</sup>, что все мы перейдем на физический труд, чтобы жить общей жизнью с народом. Теперь, после того, что я видел в Глазове и особенно в Починках, цельность этого настроения сильно нарушилась. Порой еще в Глазове, засидевшись долго, особенно ночью, за сапожной работой, я точно вдруг просыпался со странным ощущением. В руке у меня — сапог... Почему именно сапог? Но тотчас я находил и ответ: я живу в слободке, и сапог мне нужен для того, чтобы войти в среду слобожан... И наконец, для заработка. Теперь, в Перми, я мог найти другой заработок, но мне не хотелось расстаться с образом жизни сапожника. Это было нечто вроде психической инерции. Я уже увидел и пережил много такого, что сильно подточило мои недавние наивно-народнические настроения. Но это были еще как бы подпочвенные воды. Скоро они изменят даже внешний вид местности. Но пока они делали еще невидимую работу... Ко мне стали заходить обыватели, я снимал мерки, пригонял колодки и шил для слобожан нехитрую обувь... Некрасиво, но крепко.

Скоро, однако, я начал приходить к убеждению, что для губернского города я еще сапожник плохой. Даже слобожане, а особенно слобожанки требовали работы более изящной, чем я мог дать после обучения у глазовского мастера и короткой практики. «Настоящая», а не дилетантская работа — дело нелегкое. К ней надо привыкать с детства. Однажды городская

<sup>18</sup> Василий Николаевич Григорьев (1852—1925) — статистик, публицист. Встреча в Петровской академии и последующая многолетняя дружба с Григорьевым сыграли большую роль в жизни Короленко.

портниха принесла мне обрезки, оставшиеся у нее от какого-то заказа, и попросила сшить из них теплые башмаки. Мы с нею вместе примерили выкройки и решили, что обрезков этих достаточно. Но когда я снял башмаки с колодок, то увидел, что осрамился: башмаки избоченились вдруг так потешно, что на них нельзя было смотреть без смеха. Оба мы, примеряя выкройки, не приняли в соображение направления ткани... Добрая женщина утешила меня: сапоги шьются для того, чтобы их носить на ноге. А на ноге они опять принимают нормальный вид.

Но я понял, что для города я еще не работник. Жизнь здесь стоила много дороже, чем в Починках или даже в Глазове, и мне трудно было заработать достаточно, разве что пришлось бы работать от зари до зари или даже по ночам, не разгибая спины. Побившись с месяц, я перешел на службу табельщиком в железнодорожные мастерские. Здесь опять вышла неудача. Работать приходилось у самых ворот, которые не запирались весь день, в маленькой каморке, в которой замерзали чернила, стыли руки и казалось, что застывает даже всякая сообразительность. Я покорился судьбе и пошел на более легкую канцелярскую работу: стал письмоводителем в статистическом отделении службы тяги. Дорога была новая, штат еще не вполне укомплектован. Начальником дороги был молодой инженер Островский, а делопроизводителем — Александр Капитонович Маликов<sup>19</sup>.

Жизнь в Перми надолго мне не очень улыбалась. Служба на железной дороге давала заработок, но сама по себе была чрезвычайно неинтересна.

Я был письмоводителем статистического отделения службы тяги. В этом отделении регистрировалась ра-

---

<sup>19</sup> С Маликовым и его семейством Короленко дружил.

бота личного состава этой службы, то есть главным образом машинистов, их помощников и кочегаров, а также паровозов и их частей, вплоть до осей, бандажей и подшипников. К нам поступали ежедневные рапортчики машинистов, порой очень курьезные. «На такой-то версте, — писал, например, один машинист, — произошла остановка вследствие лежащего на пути мертвого тела. Сия трупа оказалась принадлежащей стрелочнику номер такой-то в пьяном виде, которая и доставлена на станцию для протрезвления». Или: «Произошла остановка вследствие попавшего между буферов тормозного кондуктора». И ничего больше. Дальнейшая судьба злополучного кондуктора в кругозор машиниста, а с ним и нашей статистики, не входила, тем более что кондуктор служил не в «тяге», а по «движению».

Мои обязанности состояли в составлении запросов, отношений, рапортов и приказов разным лицам относительно доставления тех или других сведений. Вначале мне то и дело приходилось срамиться. Случайно заглянув в только что составленную мною бумагу, один из сослуживцев сказал мне с укоризной:

— Ай, ай, ай! А еще студент, образованный человек! Как же вы не знаете, к кому и как надо обращаться. «Прошу не оставить уведомлением...» И это начальнику дороги!

— А как же нужно?

— «Честь имею покорнейше просить не оставить уведомлением». «Прошу не оставить уведомлением» можно еще написать начальнику тяги. Да и тот недавно на нас обиделся...

Один раз мне пришлось переписать бумагу с обращением: «Г-ну начальнику дороги...»

— «Г-ну», «Г-ну»!.. Да разве можно писать началь-

нику дороги «г-ну»? Надо непременно полностью: «Господину».

— Это, конечно, для дела не важно, — говорил, улыбаясь, мой непосредственный начальник Владимир Иванович Драве (бывший петербургский студент, сам сидевший когда-то в крепости во время студенческих беспорядков 1868 года), — но... все-таки вам придется ознакомиться с этими формами.

Это было нетрудно, и скоро я узнал, кому нужно писать: «прошу немедленно ответить», а кому: «честь имею покорнейше просить не оставить ответом».

...Разразилась потрясающая трагедия, русского строя.

Не помню, на второй ли или на третий день пришла в Пермь весть о царевубийстве 1 марта<sup>20</sup>.

Через несколько дней на службе нам сообщили, что в железнодорожной церкви будет панихида о старом и молебствие о новом царе. После службы священник прочел манифест и затем текст присяги. При этом мне невольно пришло в голову: вот мы присутствовали при присяге новому царю. А мог ли бы я по совести дать такое обещание? Помню, что я поделился этой мыслью с Волоховым. При его трезвом образе мыслей он немного удивился. Простая формальность, которой никто не придает серьезного значения. Я был бы рад, что никто и передо мной не ставит этого вопроса...

Но приблизительно через неделю, когда я шел по главной улице, навстречу мне попался мрачный полицеймейстер. Заметив меня, он сделал мне знак, сошел с пролетки и подошел ко мне.

— По этому листу, — сказал он, подавая мне сложенный лист бумаги, — вы должны принять присягу

---

<sup>20</sup> 1 марта 1881 года народовольцами Н. И. Рысаковым (1861—1881) и И. И. Гриневицким (1856—1881) был убит Александр II.

на верноподданство новому государю и вернуть его мне с удостоверением вашего приходского священника.

— По чьему распоряжению вы этого от меня требуете?

— По распоряжению губернатора.

Разговор происходил недалеко от губернаторского дома, и я отправился к нему. Он вышел ко мне тотчас же.

Лицо его было печально. По-видимому, он был глубоко огорчен кончиной царя.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я сейчас получил от полицмейстера вот этот лист, и он сказал, что дал его мне по вашему распоряжению.

— Да. Ну так что же?

— Скажите, ваше превосходительство, вы от всех граждан требуете таких сепаратных присяг?

— Нет, конечно. На это не хватит времени.

— Значит, это требование относится ко мне как к ссыльному?

Лицо его стало холодно и серьезно...

— Позвольте, нам нужно знать, считаете ли вы себя верноподданным нового государя или нет?

— И это именно потому, что я потерпел бессудное насилие, что моя семья без всяких причин рассеяна по дальним местам, что я видел слишком много такого же насилия над другими? Именно поэтому вы сочли нужным вызвать меня из ряду и предложить мне лично этот вопрос? Ну, я отвечаю: присяги и не приму.

Он опять задумался с тем выражением, какое я у него уже знал, и через некоторое время сказал:

— Да, вы, пожалуй, правы. Это ошибка. Пока еще это только мое распоряжение, но я почти уверен, что

через некоторое время последует такая же общая мера. Подумайте хорошенько... Зачем вам портить свою молодую жизнь? А пока дайте мне этот лист. Полицмейстер если спросит, скажите, что лист передали мне.

Затем мы начали разговаривать о разных предметах. Между прочим, я спросил:

— Еще недавно вы говорили, что ждете близких перемен к лучшему, и ожидали скорого возвращения нам свободы... Можете ли повторить это и теперь?

Он нахмурился и ответил:

— Я, конечно, не могу сказать наверное, какой оборот примут дела. Но по совести скажу вам: теперь я ничего хорошего не жду.

...С детства я был склонен к рефлексии, мешающей цельности поступков. По первому побуждению я очень твердо и без всяких колебаний сказал Енакиеву, что присягу не приму. Но теперь порой что-то щемило у меня на душе. Что будет? Как поступят с теми, кто отказывается от присяги? И стоит ли это делать? Какой новый удар придется еще нанести матери и сестрам? Не будет ли это донкихотством, смешным и бесцельным? Я ходил по-прежнему на службу, по-прежнему вечера проводил у Маликовых, ничего нового не происходило, но на душе залегла туча. Наконец уже, помнится, в мае или начале июня Енакиев опять пригласил меня к себе и сказал:

— То, что я предвидел, случилось, и теперь присягу предлагают как общую меру. Пойдите! Я прошу вас пока не принимать окончательного решения. Вот вам присяжный лист. С ним вы придете ко мне завтра. А пока...

Мы сидели с ним друг против друга за столом. Он посмотрел на меня и сказал растроганным голосом:

— Пусть это будет не разговор губернатора с поднадзорным. Я мог бы быть вашим отцом. Послушайтесь моего совета: не делайте этого. Я говорил уже с прокурором, на всякий случай. Он говорит, что свод законов не предвидит такого преступления и... кто знает, что придумают в административном порядке. Послушайтесь меня... Ну, так до завтра!

Я взял лист и ушел. Душевная туча надвинулась близко. Я сказал себе все, что мог сказать против отказа. Кому, в самом деле, это нужно? О широком «неприсяжном» движении ничего пока не слышно. А два-три случая... Действительно, донкихотство. Не лучше ли поступить так, как поступили другие? Как просто смотрит на это, например, Волохов<sup>21</sup>.

Но поступить с такой цельностью, как Волохов, я не мог. Что-то возмущалось во мне независимо от всяких практических соображений. Моим приходским священником был человек, несколько известный в духовной литературе. О нем много говорили в Перми, и говорили разное. Теперь его назвали бы черносотенцем. Тогда называли ханжой и лицемером. Я не мог представить себе той минуты, когда я перед ним стану повторять слова присяги. И он, пожалуй, примется читать мне своим лицемерным голосом трогательные наставления. У Маликовых я просидел весь вечер, скучный и печальный. Дома я старался представить себе, как поступил бы в моем положении В. Н. Григорьев. Я привык давно мысленно обращаться к нему и поступал так, как, мне казалось, поступил бы он. Но на этот раз и образ друга не давал ответа.

Потом мне пришел в голову вопрос: почему я не колебался при первом разговоре с Енакиевым? Тогда я заявил отказ без колебаний и был спокоен. Оче-

<sup>21</sup> Волохов Петр Михайлович — политический ссыльный, давнишний знакомый Короленко.

видно, это первое побуждение было мое. То, над чем я теперь думаю и колеблюсь, — не мое, чужое. «Рука не подыметя», — мелькнуло воспоминание. И пусть не подыметя, очевидно, так лучше. С этой мыслью я крепко заснул, а наутро наскоро написал на листе бумаги: «Поднадзорного такого-то заявление», в котором сказал, что не искал этого случая для вызова и демонстрации, но если у меня считают нужным спросить мое личное мнение, то я намерен ответить по совести. Я испытал лично и видел столько неправды от существующего строя, что дать обещание в верности самодержавию не могу. Не заботясь особенно о стиле, приведя разительные примеры беззакония и неправды и поставив в конце спешную кляксу, я наскоро подписал заявление и спокойно отнес его к Енакиеву.

Он с грустью принял бумагу, прочитал ее, попытался еще раз вернуть мне лист и затем, видя, что я настаиваю, сказал серьезно-официальным тоном:

— Итак, вы желаете, чтобы я дал ход вашему заявлению. Хорошо. Я должен бы тотчас же арестовать вас и отправить в тюрьму. Но мне этого не хочется. Поэтому, если вы продолжите действие данного вами слова, я оставляю вас на свободе впредь до распоряжения свыше.

Я дал слово, и мы расстались. Енакиева я тогда видел в последний раз<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> 23 июня пермский губернатор Енакиев сообщил департаменту полиции: «Один из политических ссыльных, состоящих под надзором полиции в г. Перми, а именно дворянин Влад. Короленко, когда ему предложено было, в числе прочих лиц, принять присягу на верность подданства воцарившемуся императору и законному его наследнику, отказался принять таковую в установленной законом форме, каковой отказ свой изложил в поданном мне ныне письменном заявлении. За все время проживания его здесь, кроме настоящего случая, за ним ничего предосудительного замечено не было».

Донесение губернатора Енакиева поступило на рассмотрение директора Департамента полиции В. К. Плеве, который составил

...После этого жизнь для меня пошла опять старой колеей. Должен отдать справедливость пермской администрации, что меня не только не арестовали, но я не заметил даже признаков особого надзора над собой.

...11 августа 1881 года решение наконец последовало. В этот день ранним утром ко мне явился мрачный полицмейстер с городовым и объявил, что я арестован. Могу сходить на службу, покончить там свои дела, но всюду меня будет сопровождать городовой. А к вечернему поезду я должен собраться в путь. За мной явятся жандармы, которые будут сопровождать меня. Куда? Это ему неизвестно. Губернатора в городе не оказалось.

Поезд уходил часов в восемь вечера. До сих пор полицейский уже не отставал от меня. С ним я ходил на службу, известил Маликова, Волохова и других товарищей о своем отъезде, попрощался с сослуживцами. Среди них было немало людей неглупых и симпатичных, и многие на прощание выражали мне искренние пожелания. Я побывал у Лобова<sup>23</sup>, Криля<sup>23</sup>, который в это время был в Перми, провел часа два в обществе товарищей, собравшихся у Маликова, и

---

по этому делу доклад, датированный 24 июля 1881 года и снабженный следующим заключением: «Принимая во внимание предыдущую вредную деятельность Владимира Короленко и вредное направление, обнаруженное им ныне отказом от принятия присяги на верность подданства, полагалось бы необходимым выслать Короленко на распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для водворения его на жительство во вверенном ему крае под надзор полиции».

Доклад Плеве был утвержден министром внутренних дел и 30 июля было послано отношение к генерал-губернатору Восточной Сибири с перечислением всех главных преступлений Короленко (вольная типография, побег, отказ от присяги) «для зависящего распоряжения». 29 августа было послано извещение пермскому губернатору о состоявшемся решении с предписанием сделать зависящее распоряжение о высылке Короленко по назначению.

<sup>23</sup> Лобов Александр Александрович и Криль Александр Александрович — служащие железной дороги, приятели семьи Маликовых.

затем, кажется, в сопровождении Волохова, явился домой.

Здесь меня уже ждали полицмейстер и два жандарма, которые формально приняли меня у полиции, и мы отправились на вокзал. Мне было приятно увидеть здесь и некоторых сослуживцев, которые не боялись проводить «государственного преступника». Правление дороги сочло нужным в тот же день составить постановления о выдаче мне «награды». Я служил недолго, и цифра была скромная. Владимир Иванович Драве лично привез ее на вокзал.

Короткие прощальные разговоры, горячие объятия на перроне, рукопожатия в окно, маленькое столкновение товарищей с железнодорожными жандармами и — поезд тронулся, увлекая меня на восток... Далек ли был путь, какая судьба ждала меня, я не знал.

# Глеб Иванович УСПЕНСКИЙ (1843—1902)

В 1888 году Успенский предпринимает поездку в Сибирь и в Приуралье с целью изучения переселенческого дела, результатом чего явился большой цикл очерков «Поездки к переселенцам». Ехал он вместе с переселенцами, деля с ними все дорожные тяготы. Свою поездку в Сибирь он рассматривал как важное общественное поручение в качестве летописца страданий русского крестьянства.

До Перми они плыли на пароходе, далее ехали по горнозаводской железной дороге до Тюмени. В Перми жили три дня (с 19 по 21 июня 1888 года) в бараках около нижней пристани.

## ИЗ «ПИСЕМ С ДОРОГИ»

...Пермь и переезд по Уральской горнозаводской дороге до Екатеринбурга прошли без особенно приметных впечатлений. Непомерная, совершенно неожиданная жара, начавшаяся еще, вопреки всем вероятиям, на Каме, где я с полной уверенностью ожидал всяких прелестей, свойственных близости Ледовитого океана, окончательно доконала в Перми и во всю дорогу до Тюмени, да и здесь припекала без всякого милосердия. Все время жара стояла днем около 40 градусов, а часто и выше сорока, и размаривала до состояния постоянного полусна. Благодаря такой случайности (старожилы не запомнят таких жаров) ослабленные нервы отказывались воспринимать вообще какие бы то ни было впечатления.

...Однако, несмотря на полное расслабление и отупение от жары, иногда нельзя было кое-чего не ви-

деть и не воспринять из впечатлений окружающего. Нельзя было не видеть этих гор, просторно расступающихся по обеим сторонам дороги, гор, не теряющих впечатления этого простора даже в самой крайней дали горизонта, где они очерчиваются только туманными силуэтами, где они по светлому небу чертят непрерывную, неправильную линию вершин, мелко иззубренную все тою же островерхою елью.

Хорош и вполне типичен Урал на Чусовой: широкая долина с широкими, свободными изгибами реки, обставленная не напирющими друг на друга и не тискающимися горами, впервые дышит на вас сибирским раздольем и простором; все, что вы видите кругом себя, эти долины, переходящие в горы, без всяких резкостей, медленными подъемами, как бы говорящими: «Не к спеху!»; эти реки, широкими размахами своих изгибов доказывающие, что и они поступают здесь единственно только по своей охоте, что никто им здесь не указчик, и «потому, что́ хочу, то и делаю», и, наконец, эти горные хребты, разместившиеся друг от друга без всякого стеснения, как самовольные хозяева всей этой шири и простора; все это, веющее простором, свободным своевољством и могучей, но смирной силой, — все это уже не наше, черноземное, а новое, здешнее, чисто сибирское и для нас необычное.

Есть, впрочем (особливо за Чусовой), и такие места, где сила природы выходит из пределов смиренного настроения и невольно рождает какое-то жуткое ощущение. Есть за станцией Чусовой такие места, когда горы идут близехонько с обеих сторон поезда, и тогда тайна их могущества невольно охватывает все существо как бы некоторою оторопью. В чем эта тайна жуткого ощущения? В этой ли могучей высоте или в дремучей растительности, плотно и тепло одевающей ог-



ромное тело горы снизу и доверху, не знаю и не могу определить. Но знаю, что, взглянув на это могучее тело, плотно и тепло одетое густым мехом леса, невольно скажешь себе:

— Эко, силища-то какая!

И, глядя на эту силу, почему-то «пикнуть не смей», молчишь, притаив дыхание, и вздохнешь особенно только тогда, когда вагон уйдет в какую-нибудь искусственную выемку или на равнину, очень болотистую и непривлекательную.

# Антон Павлович ЧЕХОВ (1860—1904)

А. П. Чехов в Перми бывал дважды: в апреле 1890 года по пути на остров Сахалин и летом 1902 года по приглашению Саввы Морозова на торжественное открытие школы имени Чехова во Всеволодо-Вильве, имени С. Т. Морозова. Оба раза он приезжал в Пермь по Каме, от которой у него сложились исключаящие друг друга впечатления.

В первый свой проезд Чехов пробыл в Перми всего несколько часов, он не успел отсюда даже написать письма и свои впечатления от поездки по Каме передал в письме из Екатеринбурга. Впечатления эти мрачные, безрадостные, вызваны они, скорее, плохой погодой.

Совсем другое настроение у Чехова во время его путешествия по Каме летом 1902 года. Чудесная погода, изумительнейшие по красоте камские виды, интересный спутник (Чехов ехал в обществе С. Т. Морозова, который был натурой художественно одаренной), — все это способствовало приятному отдыху и создавало прекрасное настроение.

Возвращаясь из Всеволодо-Вильвы, Чехов провел в Перми два дня — ознакомился с газетными новостями, посетил Мотовилихинский завод, осмотрел город.

В Москву вернулся поездом.

## М. П. Чеховой

29 апреля 1890 года, г. Екатеринбург

Друзья мои тунгусы! Кама — прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблюю и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет

дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие. Все больше щербаненки и чугуевцы<sup>1</sup>, в таких же шляпах, с такими же голосами и с таким же выражением «второй скрипки» во всей фигуре; по-видимому, ни один из них не получает больше 35 рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь.

Я уже писал, что со мной ехала судебная палата: председатель, член и прокурор. Председатель, здоровый, крепкий старик-немец, принявший православие, набожный, гомеопат и, по-видимому, большой бабник; член — старец вроде тех, которых изображал покойный Николай: ходит сгорбившись, кашляет и любит игривые сюжеты; прокурор — человек 43 лет, недовольный жизнью, либерал, скептик и большой добряк. Всю дорогу палата занималась тем, что ела, решала важные вопросы, ела, читала и ела. На пароходе библиотека, и я видел, как прокурор читал мои «В сумерках». Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем говорят больше, чем о Толстом.

Плыл я до Перми 2½ года — так казалось. Приплыл туда в два часа ночи. Поезд отходил в шесть

<sup>1</sup> Щербаненки и чугуевцы — напоминающие провинциалов-украинцев, знакомых Чеховых по двум предыдущим годам, проведенным на Луке (Украина).

Щербаненкс — знакомый учитель, скрипач-любитель.

часов вечера. Пришлось ждать. Шел дождь. Вообще дождь, грязь, холод... бррр! Уральская дорога везет хорошо. Баромлей и Мерчиков<sup>2</sup> нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется избытком здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого.

Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное окно, я почувствовал к природе отвращение: земля белая, деревья прикрыты инеем, и за поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли? Не сукины ли сыны? Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую область. А приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натягиваю кожаное пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены так (рисунок), копыта громадные, спина тощая. Здешние дрожки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. И чем правильнее я нарисовал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова.

В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож на Сумы и на Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. Остановился я в «Американской гостинице» (очень недурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А(лександра) М(аксимовича) С(имонова)<sup>3</sup>, написав ему, что два дня я-де намерен безвыходно сидеть у себя

---

<sup>2</sup> Баромли и Мерчики — мелкие станции южных дорог.

<sup>3</sup> Александр Максимович Симонов — двоюродный племянник Е. Я. Чеховой, матери А. П. Чехова.

в номере и принимать Гуниади, которые принимаю и, скажу не без гордости, с большим успехом.

Здесьние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. Сегодня утром входит один такой — скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень, да еще к тому же в шубе.

Ну, думаю, этот непременно убьет. Оказалось, что это А(лександр) М(аксимович) С(имонов). Разговорились. Он служит членом в земской управе, директорствует на мельнице своего кузена, освещаемой электричеством, редактирует «Екатеринбургскую неделю», цензуруемую полицеймейстером бароном Таубе, женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет, стареет и живет «основательно». Говорит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в музее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет. Пригласил он меня на завтра к вечеру чай пить; я пригласил его к себе обедать. Меня обедать он не пригласил и вообще не настаивал, чтобы я у него побывал. Из этого мамаша может заключить, что сердце родственников не смягчилось и что оба мы — и С(имонов) и я — друг другу не нужны. Прасковью Парамоновну, Настасью Тихоновну, Сабакия Семеныча и Матвея Сортирыча видеть я не буду, хотя тетка<sup>4</sup> и просила передать им, что она уж раз десять им писала и ответа не получила. Родственнички — это племя, к которому я равнодушен так же, как к Фросе Артеменко<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Федосья Яковлевна Долженко, сестра матери А. П. Чехова.

<sup>5</sup> Знакомая Чеховых на Луке.

На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не видеть этой азиатчины. Сажу и жду ответа из Тюмени на свою телеграмму. Телеграфировал я так: «Тюмень. Пароходство Курбатова. Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход «Томск» и т. д. От ответа зависит, поеду ли я на пароходе или же поскачу 1,5 тыс. верст на лошадях, по распутице. Всю ночь здесь бьют в чугунные доски и на всех углах. Надо иметь чугунные головы, чтобы не сойти с ума от этих неумолкающих курантов. Сегодня попробовал сварить себе кофе: получилось матрасинское вино<sup>6</sup>. Пил и только плечами пожимал.

Я вертел в руках пять простынь и не взял ни одной. Еду сегодня покупать резиновые калоши.

Ну, будьте все здоровы и благополучны, да хранит вас бог. Привет мой всем Линтваревым, наипаче же Троше. Поклон Иванке, Кундасовой, Мизиновой и проч. Желаю Луке побольше шпаков. Деньги целы. Если мамаша сделает Николаю решетку, то я, повторяю, ничего не буду иметь против. Это мое желание.

Найду ли в Иркутске письмо от вас?

Ваш Homo Sachaliensis

**А. Чехов**

Посылаю заказным — боюсь, что не дойдет. Попроси Лику, чтобы она не оставляла больших полей в своих письмах.

\* \* \*

**О. Л. Книппер-Чеховой**

19 июня 1902 года,  
пароход «Кама»

Дусик милый! Телеграмму в Казани получил, большое спасибо, целую тебя тысячу раз. Теперь я плыву

<sup>6</sup> Дешевый сорт красного вина, употреблявшийся в Таганроге.

по Каме. Погода чудеснейшая, ясно, тепло. Савва<sup>7</sup> очень в духе. Говорят, что Пьяного Бора<sup>8</sup> мы не увидим, так как будем в нем в пять часов утра. Это обидно. На Каме воды очень много. Я пишу это, а сам поглядываю в окошко: подплываем к Лаишеву.

Береги себя... Без меня на дачу не переезжай, я скоро приеду, раньше 5 июля. Я здоров, сыт, мне тепло. Не сердись, не скучай, а будь в духе. Поклонись маме<sup>9</sup>, Володе<sup>10</sup> и Эле<sup>11</sup>, а если увидишь Карла Ивановича<sup>12</sup> и дядю Сашу<sup>13</sup>, то и им.

Целую и обнимаю. Храни тебя создатель.

Твой Antoine.

Проехали мимо Лаишева, почтового ящика на пристани нет.

\* \* \*

### О. Л. Книппер-Чеховой

20 июня 1902 года, г. Сарапул

Милый дусик, пишу это в Сарапуле. Сегодня жарко. Здесь получил твою телеграмму, посланную в Чистополь, и заплатил 1 руб. 10 к. штрафа. Береги свое здоровье, по крайней мере хоть до июля, не ешь ржаного хлеба и проч.

<sup>7</sup> Савва Тимофеевич Морозов.

<sup>8</sup> Населенный пункт на Каме, ниже Сарапула, где в 1901 году Чехов и Ольга Леонардовна провели ночь, дожидаясь парохода.

<sup>9</sup> Мама — А. И. Книппер.

<sup>10</sup> В. Л. Книппер — брат О. Л. Книппер, певец, артист Большого театра.

<sup>11</sup> Е. И. Бартельс — первая жена В. Л. Книппера.

<sup>12</sup> К. И. Зальц — дядя О. Л. Книппер, брат ее матери.

<sup>13</sup> А. И. Зальц — дядя О. Л. Книппер, брат ее матери.

Завтра буду в Перми. Целую мою палочку и обнимаю. Я очень здоров.

Твой Antoine.

Нижайший поклон и привет Александру Леонидовичу<sup>14</sup>.

\* \* \*

### О. Л. Книппер-Чеховой

20—21 июня 1902 года,  
пароход «Кама»

Дуся, писем я не опускаю в ящик, а отдаю людям. Получаешь ли ты?

Конфеты я не взял, забыл дома.

Будь здорова! Кланяйся деточке.

Твой Antoine.

Сегодня пятница, а письмо все еще не опущено. Прости, дуся, не виноват. Сегодня жарко, хорошо. В 4—5 часов приходим в Пермь. На пароходе встретил того самого священника из Митавы, блондина, который плыл с нами до Пьяного Бора в прошлом году.

\* \* \*

### О. Л. Книппер-Чеховой

22 июня 1902 года, г. Пермь

Милый мой дуся, палочка, я уже в Перми. Приехал сюда вчера, переночевал в клубной гостинице, сегодня в 12 часов дня уезжаю на пароходе вверх по Каме в Усолье, оттуда в имение Морозова, потом опять в Пермь и, наконец, в Москву. Не знаю, какого числа получишь ты это письмо, вероятно, не скоро;

---

<sup>14</sup> А. Л. Вишневецкий (Вишневецкий) — артист Московского художественного театра, соученик Чехова по гимназии.

но знай, что 2 июля я буду уже в Москве. Меня ужасно мучает ревность, жене своей я не верю и потому спешу, спешу. Буду тебя колотить.

Кама — чудесная река. Надо бы нам как-нибудь нанять для всего семейства пароходик и поехать не спеша в Пермь и потом обратно, и это было бы дачная жизнь самая настоящая, какая нам и не снилась. Надо бы подумать об этом.

Береги свое здоровье, палочка, будь умницей. Если у Алексеева<sup>15</sup> готово на даче, то 3 или 4 июля мы уже переедем. Времени терять не будем. Спасибо тебе за добрые телеграммы.

Ну, сейчас еду на пароход, пора. Плыть буду один день сегодня, потом ночь, потом в 12 часов на поезд. Целую тебя, а если ты ведешь себя хорошо, то и обнимаю. Поклонись Вишневному и Зине<sup>16</sup>. Маме, если она все еще с тобой, передай мой сердечный привет.

Каждый день ем стерляжью уху.

К приезду моему ты обязана пополнить и стать полной, пухлой, как антрепренерша.

Целую еще раз.

Твой Antoine.

\* \* \*

**М. П. Чеховой.**

22 июня 1902 года, г. Пермь

Милая Маша, пишу тебе из Перми. Приехал сюда вчера, а сегодня уезжаю в Усолье — это вверх по Каме, на север, оттуда по железной дороге в Пермь, потом в Москву. Погода чудесная, жаркая, тихая.

<sup>15</sup> Алексеев — К. С. Станиславский. Его дача была в Любимовке под Москвой.

<sup>16</sup> З. А. Никитская — домоправительница в семье Книппер.

Одно скверно: кофе везде скверный, отвратительный.

Из Москвы получил телеграмму о том, что Ольге все лучше и лучше. По-видимому, к августу она будет уже совсем здорова. К счастью, попались порядочные доктора, которые быстро подняли ее на ноги.

Плыть по Каме очень дешево, 9 рублей первый класс, от Нижнего до Перми 4 дня. Вот, думаю, хорошо бы прокатиться как-нибудь нам всем вместе. Речной пароход — это лучшая дача.

О том, как я проведу июль и август, узнаешь, вероятно, из моих будущих писем из Москвы.

2 июля буду в Москве непременно. Поклонись мамаше, Марьюшке<sup>17</sup> и Поле<sup>18</sup>. Не скучай, будь здорова.

Твой Antoine.

\* \* \*

### О. Л. Книппер-Чеховой

23 июня 1902 года, Усолье

Милая моя, пишу тебе из Усожья. Ехал сюда долго, в душной, неуютной каютке, а теперь сижу и жду поезда, который пойдет через 4—5 часов. Очень уж жарко. Сегодня в 3 часа буду в Вильве, в имении Морозова, и там выплусь.

2 июля буду в Москве. Так выходит по нашему расчету.

Береги себя, дусик, не простудись и не испорть равновесия. Я очень жалею, что я не с тобой, а один. Избаловался я.

Ну, палочка, живи, будь здорова, не скучай. Скоро переедем на дачу. Христос с тобой.

Твой Antoine.

---

<sup>17</sup> Бывшая кухарка, оставленная жить в доме Чехова.

<sup>18</sup> Кухарка в доме Чехова в Ялте.

\* \* \*

**М. П. Чеховой**

23 июня 1902 года, Усолье

Милая Маша, я в Усолье. Если на карте поведешь пальцем по Каме вверх от Перми, то найдешь это Усолье. Сегодня же через 4—5 часов еду по железной дороге до станции Всеволодо-Вильва, где проживу дня три у Саввы Морозова. Потом поеду в Москву с таким расчетом, чтобы быть там 2 июля.

Поклонись мамаше, Марьюшке и Поле. Будь здорова.

Твой Antoine.

\* \* \*

**А. М. Пешкову (М. Горькому)**

24 июня 1902 года,

Всеволодо-Вильва

Дорогой Алексей Максимович, я был на сих днях в Перми, потом поплыл выше в Усолье, теперь по железной дороге спускаюсь опять до Перми; пребываю близ станции Всеволодо-Вильва. 2 июля я опять буду в Москве, это непременно; и если Вы уже выслали туда пьесу<sup>19</sup>, то 3-го я уже прочту ее. Если же не выслали, то имейте в виду, что мой московский адрес есть главный адрес впредь до уведомления. Быть может я буду жить с Ольгой на даче (у Алексева), но все же сообщение между моей московской квартирой и дачей будет ежедневное.

Ольга была больна нелегко, теперь же, как видите, я отпущен на волю, могу быть покоен. Она поправляется, и есть надежда, что к середине августа

---

<sup>19</sup> «На дне».

будет уже совсем здорова, будет репетировать, как настоящая Книппер.

Художественный театр перебрался на новую квартиру, очень хорошую. Это так называемый Лианозовский театр в Газетном переулке. Его переделывают заново и рассказывают чудеса.

Сколько дней я уже не читал газет!

Поклонись Екатерине Павловне, Максимке и дочери вашей милой. Надеюсь, что вы здоровы и скучаете не очень. Здесь, в Пермской губернии, очень жарко, все время пью Apollinaris — вода, которую я нашел в Перми. Итак, пишите мне в Москву.

Крепко жму руку и обнимаю вас.

Ваш. А. Чехов

\* \* \*

**Вл. И. Немировичу-Данченко**

25 июня 1902 года,  
Всеволодо-Вильва

Здравствуй, милый Владимир Иванович! Пишу тебе сие черт знает откуда, из северной части Пермской губернии. Если проведешь пальцем по Каме вверх от Перми, то уткнешься в Усолье, так вот я именно возле этого Усолья.

Из Москвы получаю успокоительные телеграммы. Буду там, т. е. в Москве, 2 июля и, если Ольге можно будет передвигаться, 3 или 4-го поеду уже на дачу Алексева.

Жизнь здесь, около Перми, серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая. Ну, да об этом при свидании. А пока будь здоров и благополучен, не хандри, пописывай и о нас вспоминай. Надеюсь, что Вишневский телеграфировал тебе аккуратно, как ему и подобает.

Обнимаю тебя и крепко жму руку. Передай поклон Екатерине Николаевне<sup>20</sup>.

Твой А. Чехов

\* \* \*

А. М. Пешкову (М. Горькому)

26 июня 1902 года, г. Пермь

Дорогой Алексей Максимович, шлю Вам вырезку из «Пермских губернских ведомостей»<sup>21</sup>. На сих днях выезжаю в Москву, 2 июля буду уже на Неглинном в доме Гонецкой, куда и адресуйте пьесу, буде Вы ее уже кончили.

Здесь очень жарко. Хорошо, но как будто бы скучновато.

Желаю Вам всего хорошего, будьте здоровы.

Ваш. А. Чехов

\* \* \*

Е. Я. Чеховой

26 июня 1902 года, г. Пермь

Милая мама, шлю Вам привет из Перми, где в настоящее время и нахожусь. Послезавтра уезжаю в Москву, буду там утром 2 июля.

<sup>20</sup> Жена Вл. И. Немировича-Данченко.

<sup>21</sup> Речь идет о заметке «М. Горький в Перми», помещенной в газете «Пермские губернские ведомости» (1902. — № 136. — 26 июня): «Носится слух, что третьего дня популярнейший писатель Максим Горький на пароходе «Борец» отправился из Перми на Курьинские дачи. Он — в белой рубахе, высоких сапогах и пенсне. Кто-то из публики стоявшего рядом с «Борцом» парохода «Лебедь» узнал писателя. «Борец» в тот момент уже отчалил. Весть о том, что на его палубе сам Горький, моментально облетела всю публику «Лебеда», которая повскакала со своих мест и жадно впилась в удаляющегося «Борца». Случись это открытие пятью минутами раньше, добрая половина пассажиров «Лебеда» перешла бы на «Борца». Как велика популярность писателя, видно из того, что и «серая» часть публики — мужички — знакомы с его именем и говорят про него: «Горький! Он много хорошего написал. Башка!»

Все благополучно. Я здоров. В Перми жарко.  
Поклон Маше, Марьюшке и Поле. Желаю Вам все-  
го хорошего, целую руку.

Ваш Антон.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЧЕХОВЕ А. СЕРЕБРОВА

(А. Н. Тихонова<sup>22</sup>)

### I

В уральских владениях Саввы Морозова готовились к приезду хозяина.

Управляющий имением «дядя Костя», расторопный толстяк, похожий на мистера Пикквика, хотя он был всего-навсего морозовским приказчиком, вторую неделю метался из одного края обширного имения в другой, не разбирая ни дня, ни ночи.

Хлопот было по горло. В имении спешно чинили мосты, настилали гати, отводили полянки запоздавшим лесорубам, отправляли в Усолье не доставленный вовремя доломит.

В одном углу имения охотники стреляли дичь, в другом рыбаки ловили в горной речке нежных хариусов, чтобы было чем кормить Морозова.

Домой, во Всеволодо-Вильвенский завод, «дядя Костя» приезжал только отсыпаться — усталый, опухший от комаров, весь зашлепанный таежной грязью, не исключая даже круглых очков в серебряной оправе, которые еле держались на кончике его крохотного, кнопочкой, носа.

Но и дома было не легче. Дом красили снаружи, скребли и мыли внутри, чистили парк, вывозили на-

---

<sup>22</sup> А. Н. Тихонов - Серебров (1880—1956) — писатель и крупный организатор литературно-редакторского и издательского дела.

воз из конюшен и спешно вешали собак, в непотребном количестве расплотившихся около кухни. На это дело был поставлен кучер Харитон, рыжебородый тяжелый мужик, и впрямь похожий на палача. При всей его лютости ему, однако, удалось «казнить» только трех, остальные собаки, почуяв беду, благо-разумно куда-то скрылись.

Новая школа, числившаяся по отчетам готовой, стояла еще без окон и дверей. Выписанный из Перми жирный повар, похожий на скопца, оказался запойным. Пьяный, он бил на кухне посуду и требовал от Анфисы Николаевны каких-то не существующих в природе «бунчаусов», без которых нельзя было, по его словам, изготовить ни одного благородного, «губернаторского» кушанья.

С утра, непричесанная, в розовом фланелевом халате, Анфиса Николаевна — супруга «дяди Кости» — в куриной истерике бегала по комнатам и поминутно затевала ссоры с прислугой, малярами, с поломойками, которые успели уже выдавить два стекла и сломали ее любимый многолетний фикус.

Четверо мальчуганов — потомство «дяди Кости», — оставшись без надзора, объявили себя шайкой разбойников и неистовой ватагой носились по дому, с удовольствием приклеиваясь босыми пятками к еще не просохшему от краски полу. В парке они рубили деревянными саблями высаженные на клумбы цветы.

«Дядя Костя» махнул на них рукой. Все личное перестало для него существовать. Его единственной отрадой был теперь только что построенный впервые в доме, опять-таки ради Морозова, теплый ватерклозет с фарфоровой чашей и громыпающим, как Ниагара, водосливом.

Выходя из уборной, «дядя Костя» каждый раз радостно изумлялся:

— Вот это — Европа!

Волновались не только в господском доме. Волнение захватило и заводской поселок, находящийся неподалеку от усадьбы. В волостном правлении по вечерам густо гудели мужики, составлявшие прошение Морозову насчет каких-то спорных лугов. На поляне у колодца четыре пары понятых, кланяясь друг другу в пояс, пробовали пожарную машину. Пересохший рукав брызгал во все стороны фонтанами на визжавших от радости ребят.

Из церкви неслось хоровое пенье — это о. Геннадий, по прозвищу «Иисусик», разучивал со школьниками приветственную к приезду Морозова кантату. Даже начальник станции — усатый истукан из бывших жандармов, казалось бы, ему-то какое дело до приезда Морозова, — и тот, единственно раболепства ради, приказал начистить толченым кирпичом станционный колокол и саморучно увешал платформу приветственными гирляндами.

Наконец торжественный день настал. Это было 23 июня 1902 года.

В десять утра «дядя Костя», в заново отлакированной коляске с Харитоном на козлах, разодетый в плисовую с позументами безрукавку, покатил на вокзал встречать хозяина. Я остался ждать около дома на скамейке, палимый снаружи солнцем, а внутри — нетерпением поскорее увидеть Савву, — так все за глаза называли Морозова, — которого я хорошо знал по Москве. Через полчаса из-за угла дома вихрем вырвалась возвращавшаяся тройка и разом замерла у парадного крыльца, окутанная догнавшим ее ... облаком пыли.

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких

охотничьих сапогах. Его лицо — монгольского борода-того божка — хитро щурилось.

— А я вам гостя привез! — шепнул он мне, здоро-ваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий сутулый человек в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в седеющей клином бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями, ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки красноватую вязкую мокроту. Молча подал мне влажную руку. Поправил пенсне. Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хрипловатым от кашля, голосом:

— А, должно быть, здесь щуки водятся?!

Это был Чехов.

## II

День прошел в праздничной суете. После легкого завтрака ходили осматривать достопримечательности: спиртовой завод, новую школу, березовый парк.

Чехов шел медленно, глядя под ноги и отставая от других. Тонкой, гнущейся тросточкой он пробовал растрескавшуюся от жары землю, как бы не доверяя ее обманчивой внешности.

Темный, низкий, закопченный завод, где в огром-

ных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы и жидкости, где не было ни живого огня, ни шума машин, Чехову явно не понравился. Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутылки денатурата и, не дождавшись Морозова, вышел на воздух.

В новую школу, куда за отсутствием крыльца надо было подыматься по узкой стремянке, Чехов даже не заглянул и, пока Савва мерил рулеткой будущие классы и вычислял их кубатуру, Чехов сидел около школы на бревнах и, побрякивая жестяной коробочкой, которую он всегда носил в жилетном кармане, приманивал мятными лепешками деревенских ребят, собиравших около постройки сосновые щепы — матерям на растопку. Ребята шмыгали носами, подталкивали друг друга локтями, но ни один из них так и не решился подойти за конфетками к этому черному, чужому «дяде» в очках со шнулочком.

Под зелеными сводами парка Чехов ожил, снял кепку, как в церкви, и, вытирая пот платком, сказал со вздохом и нараспев:

— Хорошо у вас тут... Бе-ре-зы... Не то, что у нас в Ялте. — И, как бы слегка капризная, добавил: — Не понимаю, зачем это здоровые люди в Ялту ездят? Что там хорошего? Берез — нету, черемухи — нету, скворцов — и то нет!

— Здоровые люди, они — глупые, им везде нравится! — ответил Савва с таким ехидным простодушием, что никак нельзя было понять, над кем он посмеивается — над «здоровыми людьми» или больным Чеховым.

Обед состоял из семи блюд, и каждое из них почему-то запаздывало. «Дядя Костя» сидел красный от стыда и чуть не плакал.

За столом собралась вся местная интеллигенция: лесничий, фельдшер, инженеры и техники с заводов — нескладные, бородатые обломы, рабочая скотинка Морозова. Они нарядились, как на свадьбу, — суконные сюртуки пахли нафталином, накрахмаленные манишки с невероятными галстуками пузырями выпирали из жилетов. Все их внимание было приковано к хозяину. Они говорили, пили водку, смеялись тогда, когда говорил, пил и смеялся хозяин. На Чехова они не обращали внимания. Многие из них даже не знали, кто такой Чехов, и, прослышав, что он «писатель», принимали его за помощника Морозова «по письменной части».

Между рыбой и жарким школьники в соседней комнате — обед совершался на террасе — спели кантату, очень похожую на «Херувимскую», после чего сияющий о. Геннадий в новой шелковой рясе, подобной колоколу, присоединился к обедающим.

Чехов сидел чужаком, на краю стола, для всех посторонний, и с тоской поглядывал на вечереющий сад, где солнце уже резало пополам стволы берез и кипело последним золотом в их пышных вершинах.

Он ничего не ел, кроме супа, пил привезенную с собой минеральную воду «Апполинарис» и весь обед недружелюбно молчал, лишь изредка и с неохотой отвечая на реплики Морозова, всячески старавшегося вовлечь его в общий разговор.

Обед затянулся до сумерек. Когда все встали, Чехов, сославшись на усталость, ушел к себе в комнату, ни с кем не попрощавшись, и, видимо, обиженный.

Мы с Саввой отправились во флигель, где я жил, чтобы там на свободе поговорить о делах. Я был в ту пору студентом Горного института и производил в имени Морозова разведки на каменный уголь.

Оказалось, что составленные мною чертежи были

так велики, что не умещались ни на одном из столов. Чтобы вывести меня из затруднения, Савва раскинул кальку от одного угла комнаты в другой, поставил на концах горящую лампу и несколько подсвечников и, растянувшись на полу, пригласил меня последовать его примеру. Так, по занозистым половицам, мы приступили к осмотру чертежей и деловой беседе.

В середине моего доклада Савва привстал на колени и сказал, как всегда, с хитрецей:

— Знаете что? Я завтра утром уеду осматривать имение, а Чехова подброшу вам. Вы его тут займете. Вам будет интересно!

Помолчал и, почесывая острием карандаша коротко остриженный седеющий затылок, уныло прибавил:

— Скучно ему со мной! И зачем я его сюда затащил?!

### III

И вот, неожиданно для себя, я оказался глаз на глаз с Чеховым, вдвоем в огромном, пустом доме. «Дядя Костя» уехал с Морозовым, а домашних своих он еще загодя отправил к родственникам, чтобы они, как он выразился, «не портили здесь пейзажа».

Чехову было со мной еще скучнее, чем с Морозовым.

Стояла африканская жара, без ветерка, без прохлады даже ночью. Чехов, изнывая от зноя, бесцельно слонялся по парку, читал в садовой беседке приложения к «Ниве» и каждый час справлялся у горничной, нет ли телеграммы из Москвы, где он оставил больную жену. Его томило безлюдье, безделье и кашель...

Навязанный насильно совершенно незнакомому человеку в качестве гостеприимного хозяина и единственного собеседника, я ни в какой мере не годился

ни для того, ни для другого. К тому же, этим «незнакомым человеком» был не кто иной, как Чехов.

Недолго думая, я попросту сбежал от него и, сославшись на спешную работу, просидел весь день у себя во флигеле, исподтишка наблюдая в окошко за своим страшным гостем.

## IV

Вскоре, однако, и у нас нашлись общие интересы. С утра до вечера мы сидели теперь под глинистым откосом, у темного омута, и с увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. Чехов был прав: щук в реке было много.

— Чудесное занятие! — говорил Чехов, поплеывая на червяка. — Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других неопасно. А главное, думать не надо... Хорошо!

Он с удовольствием грелся на солнце, снимал пиджак и галстук и почти не кашлял.

Рыбак он был превосходный, его улов всегда был больше, чем у меня, хотя мы сидели рядом.

— До чего мы ленивый народ, — добродушно философствовал он, сладко потягиваясь. — Даже природу заразили ленью. Вы поглядите только на эту речку, до чего же ей лень двигаться! Вон она какие колена загибает, а все от лени. И вся наша пресловутая «психология», вся эта Достоевщина, тоже ведь от этого. Лень работать, ну вот и выдумываем.

## V

Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться близкими друзьями, были, в сущности, людьми, друг другу чужими. Интеллигент, писатель, Чехов плохо сочетался с капиталистом Саввой Морозовым.

Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так, что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва. Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова.

Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, это его смущало, и, чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место.

Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал. Но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу.

Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намечая на Морозова:

— Богатый купец... театры строит... с революцией заигрывает... а в аптеке нет йоду и фельдшер — пьяница, весь спирт из банок выпил и ревматизм лечат касторкой... Все они на одну статью — эти наши российские рокфеллеры.

## VI

По предложению Морозова было решено окрестить «именем Чехова» вновь отстроенную школу. Чехову это, видимо, не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить соответствующий адрес, а «дяде Косте» — его прочитать. Тот долго отнекивался, но, наконец, сказал, что «ради памяти потомства» он согласен.

Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебен, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому.

Я сидел у Чехова в комнате и читал ему вслух Апухтина. Чехов лежал на кушетке — ему сильно нездоровилось.

— Хорошие стихи, — сказал он, пожевывая, — какая нежная любовная лирика! Вот и поди, разгадай поэтов!

В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции. «Дядя Костя» выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес. Настало торжественное молчание. Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.

Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук «дяди Кости» и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:

— Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты.

«Дядя Костя» закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм.

Мне стало жаль бедного «дядю Костю».

Когда я вечером рассказывал об этом Савве, тот долго трясся от залиvistого, с горошинкой, смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал:

— Чему же вы удивляетесь? Вы еще не знаете — он не только «дядю Костю», он кого угодно может стащить с колокольни. Не любит он пышности и вообще колокольного звона.

## VII

...Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пищали комары. Окон нельзя было открыть — боялись воров.

Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был явственно слышен его кашель, раздававшийся эхом в пустом темном доме. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял.

Несколько раз он вставал с кровати, — мне было слышно, как гудели пружины матраца, — ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал.

Под конец я все-таки уснул.

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я подошел к окну. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие, серые, огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я уловил протяжный, мычащий стон.

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку. Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданием.

Мне показалось, что Чехов умирает, и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова.

...На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля. И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жид-

кость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь.

...Чехов отвалился навзничь, на подушки, и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом.

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном, и, сейчас же за ним, страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы.

На следующий день Савва, бросив осматривать имение, увез больного Чехова в Пермь.

Лев Николаевич  
ТОЛСТОЙ  
(1828—1910)

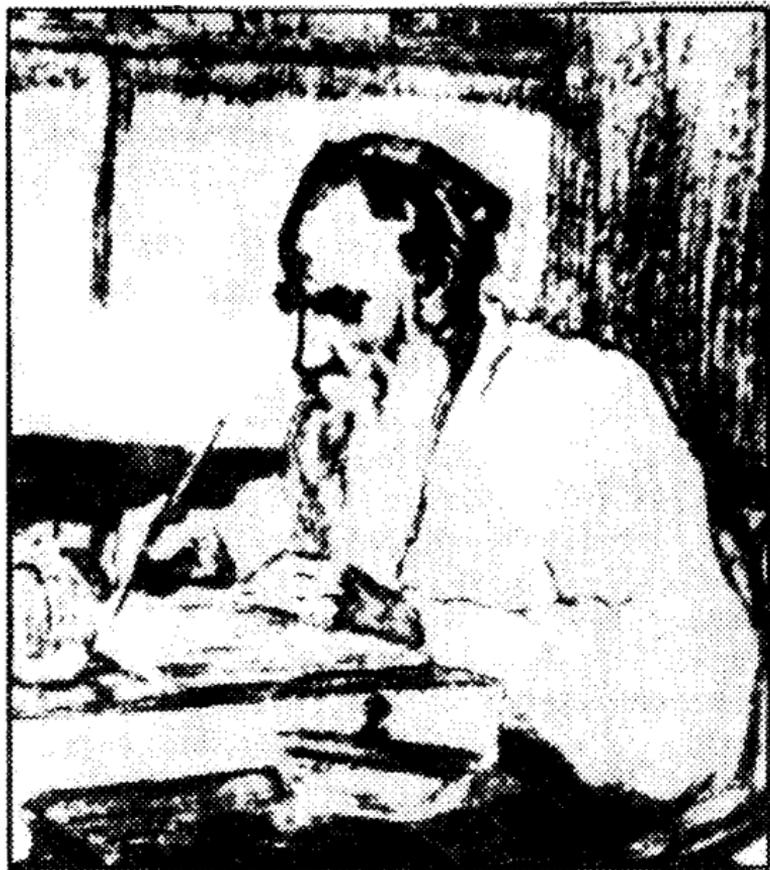
Л. Н. Толстой имел обширную переписку со своими читателями, переписывался он и с жителями Прикамья.

Наиболее длительной была его дружба с врачом из Кунгура Германом Александровичем Чемодановым (1863—?), который в конце 90-х годов вместе с семьей приезжал в Ясную Поляну и познакомился с писателем.

Г. А. Чемоданов в начале века руководил революционным кружком в Кунгуре и вместе с другими его членами готовил и распространял нелегальную литературу и запрещенные статьи Л. Н. Толстого, за что был арестован и отправлен в Сибирь с запрещением заниматься врачебной деятельностью.

Корреспондентом Толстого был также и известный владелец крупных транспортных предприятий на Урале, член многих акционерных компаний (судоходных, железнодорожных) Николай Васильевич Мешков (1851—1933), являвшийся также прогрессивным общественным деятелем — один из основателей Пермского университета, издатель прогрессивных журналов «Былое» и «Минувшие годы». После Великой Октябрьской революции работал консультантом при Народном Комиссариате путей сообщения. С Л. Толстым он был знаком лично.

Письма Л. Толстого шли и в Чердынь, где в д. Корепино отбывал двухлетнюю ссылку секретарь Л. Толстого Николай Николаевич Гусев (1882—1967), который послал из Корепино Толстому 23 письма и получил на них 11 ответных.



**ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО  
Г. А. ЧЕМОДАНОВУ**

1903 г. Ноября 2. Я. П.<sup>1</sup>

Дорогой друг и брат Герман!

Только нынче, 2 ноября, получил ваше письмо. Очень жалею, что ничего не знал раньше о вашем положении, и рад тому, что хоть теперь узнал о нем и могу попытаться или помочь вам, или, если не смо-

<sup>1</sup> Ответ на письмо, присланное Ольгой Федоровной Харлампович, которая, «как самый лучший друг семьи Чемоданова», известала писателя об аресте Германа Александровича и просила «подбодрить заключенного хоть одним словом».

гу, то хотя в мыслях разделить с вами и тяжелое, и радостное вашего положения. Я не могу не видеть много радостного в вашем положении. Я всегда желал его для себя, так как в нашем обществе гонения мирских властей, в особенности без всякого повода, как это было с вами, есть верный признак того, что подвергающийся гонениям стоит на истинном пути христианской жизни. Я, очевидно, не стою на нем, и поэтому бог не удостоил меня до сих пор этого доказательства верного служения ему. Помогает вам бог с сознанием своей духовности и неотъемлемой свободы человека, познавшего истину, перенести посланное вам и вашей семье испытание без ропота и озлобления, а с благодарностью тому, который, дав нам частицу себя, дал возможность, вызывая в себе его сущность — любовь, быть неуязвимым и кротким и любящим, каким мы хотим и можем быть.

Молодой человек<sup>2</sup>, о котором вы пишете, был в Москве, где я не живу, и потому я не видал его; но желание его, я думаю, что мне легко будет исполнить. Я спишусь с теми двумя лицами, которым я думаю предложить его, а он пусть даст мне свой адрес, и я напишу ему.

Прощайте пока. Если вам можно будет, напишите мне еще о себе: как вы перенесли свое положение и как и чем оно кончится.

Любящий вас друг и брат

**Лев Толстой**

Прошу передать мой братский привет вашей жене и искренние пожелания перенести с кротостью и покорностью воле божьей посланных ей испытаний.

---

<sup>2</sup> Чегоданов писал о Д. А. Ляпустине, окончившем Кунгурское техническое училище и желавшем заняться сельским хозяйством. Чегоданов просил указать ему какую-нибудь ферму или экономию.

\* \* \*

1904 г. Марта 17. Я. П.<sup>3</sup>

Дорогой Герман!

Вполне понимаю ваше положение и всей душой сочувствую ему. Если буду в состоянии, постараюсь помочь.

О службе врачом в войске я думаю так: идти из России, где везде много страданий и горя, туда, где люди убивают друг друга, неразумно. Изо всех мест, в которых можно служить людям, последнее должно быть то, в котором люди заняты убийством. Так это для людей свободных; но вы находитесь в исключительном положении, в котором вам везде мешают служить, кроме как в войске. И потому, просясь врачом в войско, я думаю, что вы поступите нравственно и разумно. Благодарю за хорошее письмо. Простите, что на этот раз пишу коротко. Случилось, что нездоров и очень занят.

**Лев Толстой**

\* \* \*

1904 г. Июня 1. Я. П.

Любезный Герман!

Очень рад был получить весть о вас, хотя вести нехорошие. Попытаюсь написать иркутскому генерал-губернатору с просьбой не препятствовать вашему поступлению на службу. Он мне сделал одно дело; может быть, сделает и это. Очень мне жаль было читать ваши мысли о брачной жизни. Они, по моему мнению, совершенно ложны и очень вредны для тех, кто их разделяет.

---

<sup>3</sup> Ответ на письмо Г. А. Чемоданова из Сибири, в котором он сообщал писателю, что, потеряв надежду устроиться участковым врачом в больнице, решил проситься в действующую армию.

Половые отношения составляют один из главных источников страданий детей и, главное, зла между людьми, и потому с древнейших времен человечество старалось обезвредить, сколько возможно, эти отношения и установило для этого выработанные совокупною мудростью людей законы, правила, отступление от которых всегда губительно для отступающих. Руководиться же в этом сложном, важном, трудном деле одним чувством значит отказаться от человеческого разума и спуститься на степень животного. Обыкновенно говорят: «истинное, высокое, нравственное чувство». Но горе в том, что каждый человек возводит свое чувство во что-то особенное — высокое, истинное. Хорошо бы было руководствоваться чувством, если бы была такая лакмусова бумага, по которой можно было бы, как кислоту от основания, различать истинное и высокое чувство от ложного и низкого. Но такой нет. И поэтому только допусти руководство одним чувством, и люди, всякий, считая свое животное чувство особенным, высоким, спустятся на степень хуже животных и погрязнут в море зла сами и их дети.

Избави вас бог от приложения к жизни таких взглядов. Пишу это, любя вас...

Пожалуйста, пишите о себе и как вы устроитесь<sup>4</sup>.

**Лев Толстой**

---

<sup>4</sup> 13 апреля 1908 года Чемоданов сообщал Толстому о своей дальнейшей судьбе. Из Сибири его вызволила амнистия, осуществлявшаяся по указу от 21 октября 1905 года. Чемоданов вернулся в Кунгур, но в декабре 1906 года по требованию пермского губернатора вынужден был покинуть Пермскую губернию и уехать сначала в Вятку, затем за границу, где пробыл более года. В этом же письме Чемоданов признавался Толстому, что не может понять принципа непротивления злу насилем, никак не может признать его за истину». «Вот пункт, на котором я пока расхожусь с тобой, Л. Н.», — писал он Толстому, но ответа на свое письмо не получил.

Вернувшись из-за границы, Чемоданов работает врачом в Белой Церкви, в годы войны 1914—1916 гг. — врачом пехотного полка,

**Письмо Л. Н. Толстого Н. В. Мешкову**

1909 г. Февраля 25 Я. П.

Николай Васильевич!

Очень благодарен вам за пересылку книг<sup>5</sup>. Получил их и пользуюсь ими. Как бы рад был, если бы достало сил и умения воспользоваться ими, как хотелось бы.

Уважающий вас  
Л. Толстой

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Н. ГУСЕВА**

...Через несколько минут мы с добродушным городовым, неся в руках мои вещи, спустились по лестнице, вышли на крыльцо, сели на извозчика и поехали на вокзал. Я с наслаждением вдыхал в себя свежий ночной воздух после духоты арестантской.

На вокзале взяли билеты до Перми, сели в вагон третьего класса и поехали в Москву. До Перми ехали четверо суток через Ярославль, Вологду и Вятку.

Мой спутник оказался очень словоохотливым и добродушным человеком. Его присутствие не стесняло меня нисколько. Мы с ним вели длинные разговоры на разные житейские темы. На станциях он ходил за кипятком и провизией.

---

после Великого Октября продолжает работать по специальности на Украине. Дальнейшая его судьба неизвестна.

<sup>5</sup> Высылая книги Толстому, Н. В. Мешков писал ему: «...Вы выражали желание получить «Былое» и «Минувшие годы». Прочел и газетное известие, что Вы—Вы! — знаменитый современник — хстите наконец сказать свое большое слово об исторической эпохе нашей и о ее деятелях. Вы понимаете, с какой радостью я посылаю Вам как материал все книжки «Был.» и «Мин. годов», и если скоро добуду, то вышлю еще комплект «Исторической библиотеки». И как я желаю Вам здоровья и бодрости и как надеюсь, что Вы поможете еще раз нам, все-таки гражданам нашей измученной, казнимой родины, вновь найти веру в свои силы, которые еще так недавно казались чем-то!»

В Перми сели на пароход и ехали до Чердыни полтора суток. Я расспрашивал пассажиров о Чердыни, стараясь составить себе представление о том крае, в котором мне придется жить. Один из пассажиров, маленький, юркий старичок, оказался чердынским мещанином. Он знал из газет о высылке секретаря Толстого и, разговорившись со мной и узнав, кто я, принялся ругать Толстого за его отрицание православной религии. Я слушал его с тяжелым сердцем и думал о том, сколько мне предстоит еще в ссылке таких неприятных встреч с людьми, которые будут ненавидеть меня за мои убеждения, которых я не могу изменить.

Шестнадцатого августа приехали в Чердынь и, сойдя с парохода, на извозчике поднялись на гору, миновали несколько улиц и остановились у полицейского управления. Мой спутник сдал меня вместе с пакетом от тульского полицмейстера, на котором было написано «В Чердынское полицейское управление. С поднадзорным Гусевым», дежурному чиновнику под расписку и простился со мной.

Часа полтора я просидел в помещении для стражников в ожидании решения вопроса о моем дальнейшем местожительстве тем совершенно чужим и неизвестным человеком, который месяц тому назад, без моего ведома и согласия, получил на это право. Часа через полтора мне было объявлено, что исправник назначил меня в Корепино, за девяносто одну версту к северу от города. «Село хорошее», — прибавил передавший мне об этом стражник. Я первым делом осведомился, ходит ли туда почта, и получил ответ, что ходит раз в неделю по понедельникам.

Через двое суток, 18 августа, я был уже в Корепине. Дорогой поражала и восхищала красота дикой и величественной северной природы — бесконечных ле-

сов, обрывистых утесов, быстрых и прозрачных рек. Стояли жаркие, солнечные дни, в которые северная природа казалась еще прекраснее.

На предпоследней станции, в селе Кикус, в двадцати верстах от Корепина, содержатель земской станции, высокий, плечистый мужик, поразил меня прямо на меня устремленным злым, враждебным взглядом. Разговорившись со стариком, его отцом, я понял причину его враждебности.

— За что тебя сослали? — спросил старик.

— За правду, — отвечал я, не в силах будучи придумать другого ответа.

— За правду, — недоверчиво и с удивлением спросил старик. И, помолчав немного, продолжал: — И что только ваша братия, ссыльные, какие дела делают. У нас на днях двоих — женщину с мужчиной — зарезали...

И он рассказал мне подробности действительно страшного преступления.

Переночевав в Кикусе, часов в пять утра, я поехал дальше. Переехав на пароме Колву, стали приближаться к Корепину.

Вот уже показались поля с не сжатою еще золотистой рожью. Вот на горе убогое кладбище. Вот блеснул на солнце золотой крест церкви. Одна за другой стали показываться жалкие, плохо построенные хижины, в одной из которых должен поселиться и я и два года жить на чужбине, в разлуке со своими близкими.

Ямщик подвез меня к волостному правлению. Я вошел в него. Ко мне вышел бородатый писарь, прочитал присланную со мной бумагу и объяснил мне, что я останусь здесь в Корепине и свободен идти на все четыре стороны и делать, что хочу.

**ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО  
Н. Н. ГУСЕВУ**

1909 г., 27 августа, Ясная Поляна

Сейчас только, нынче 27-го, вспомнил, что уже дня два со времени получения вашего последнего можно было писать вам, милый и дорогой Николай Николаевич, а я пишу только теперь. Сказать хочется так много и о духовном, и о мирском, что не знаешь, с чего начать. Начну с мирского. В печати пошумели о вашей высылке, и мне все сдается, что вас вернут. Может быть, оттого, что мне этого хочется. Хочется никак не для себя — Саша и Варвара Михайловна<sup>6</sup> работают бодро, усердно, разумеется, не то, что вы, но мне не нужно, слава богу, той роскоши, к которой вы меня приучили. Хочется для вашей матери, от которой было очень хорошее письмо Саше, и для вас, для низшего вашего сознания, которое не могу не принимать во внимание. Стахович М. А.<sup>7</sup> пишет, что надо непременно сделать в Думе запрос о вашей высылке, и что лучше всего сделает это Маклаков<sup>8</sup>. Завтра они оба будут, и я решил не просить об этом, но и не противиться, если они хотят это делать<sup>9</sup>. Я намерен воспользоваться Маклаковым преимущественно в том, чтобы побудить его выступить с проектом об едином налоге. Я настраивал на это бывшего у нас члена Думы Тенишева, но он мало восприимчив. Пишите э себе. Давно, относительно, нет известий.

<sup>6</sup> Саша — Александра Львовна Толстая, младшая дочь Л. Н. Толстого; Варвара Михайловна Феокритова — переписчица у Толстых, подруга А. Л. Толстой.

<sup>7</sup> Стахович Михаил Александрович — помещик Орловской губернии, член Государственной думы, друг семьи Толстых.

<sup>8</sup> Маклаков Василий Алексеевич — адвокат, член Государственной думы, друг Л. Н. Толстого.

<sup>9</sup> Запрос в Государственную думу об аресте Гусева сделан не был.

От Александра через Павлова<sup>10</sup> прекрасные известия. Его везут в Вильно на суд. Чем больше люблю, тем больше боюсь за него. Знаете ли вы про Засосова (Сергеенко писал)? Он был у нас<sup>11</sup>. Очень сильный духовно человек. Его призывали, осмотрели и, найдя по сложению неподходящим, отпустили.

К Черткову<sup>12</sup> я поеду на днях, как только уедет сестра. Доклад мира Штокгольмский меня просят прочесть в Берлине. Я просил Шмита прочесть его. Он не отвечал еще. Шкарван уже перевел<sup>13</sup>.

Писем, как всегда, получаю много хороших о вас. Мне многие пишут с любовью о вас, что мне очень радостно.

Статья, вероятно, ваша, в «Русских ведомостях» хороша, и ее уж бранят<sup>14</sup>. Вы, верно, будете писать в газеты. Я не советовал бы. Уж очень это унижительно для слова. Я уверен, что у вас много планов работ. И вы так хорошо излагаете, и вам есть что. Напишите об этом. Милый Иван Иванович на это полезен. Мы с ним затеваем из «На каждый день» составить, упро-

<sup>10</sup> Толстой получил письмо от агронома Д. П. Павлова 23 августа с известиями о своем друге А. Н. Соловьеве, который за отказ от военной службы был приговорен к четырем годам заключения.

<sup>11</sup> Засосов Владимир Иванович — крестьянин Клинского уезда Московской губернии, отказавшийся по религиозным причинам от военной службы, приезжал в Ясную Поляну 10—11 августа с рекомендательным письмом от П. А. Сергеенко; Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930) — автор книги о Л. Н. Толстом.

<sup>12</sup> Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — близкий друг и единомышленник Л. Н. Толстого, издатель его произведений.

<sup>13</sup> Толстой получил приглашение прочесть приготовленный им для Конгресса мира в Стокгольме доклад на массовом собрании в Берлине. По его просьбе, словацкий врач Альберт Шкарван перевел доклад на немецкий язык, а немецкий публицист Эуген Шмитт должен был зачитать его. Однако чтение было запрещено полицейскими властями.

<sup>14</sup> Имеется в виду анонимная статья в газете «Русские ведомости». — 1909. — 20 авг., осуждающая арест Гусева.

стив их, книжечки по копейке. Я уже сделал «Июнь»<sup>15</sup>.

Работы у меня больше, чем сил. На душе очень хорошо. Люблю, как могу, и тех, кого трудно, и тех, кого легко любить. Вас легко. Землячка ваша Гагина<sup>16</sup> шлет вам любовный привет.

Л. Т.

1909 г., 8 сентября, Ясная Поляна

Спасибо, милый Николай Николаевич, что пишете подробно о себе и в телесном, и в духовном отношении. Знаю, что, пишучи к любящим людям, невольно скрываешь все для себя тяжелое, чтобы не огорчить их — любящих. Так делаете, наверно, и вы. Но, как ни трудно вам, милый Николай Николаевич, я в минуты слабости желаю быть на вашем месте. Но это минуты слабости, и знаю, что «всё в тебе», как говорил Сютаев<sup>17</sup>, и, слава богу, нахожу «в сабе» все, что мне нужно. Знаю, что и у вас то, что «в сабе», нужно, близко, на виду, ничем не заслонено. Ведь тем-то и велико (велико — дурное слово, да другого не найду) это сознание своего духовного начала и жизнь во имя его, что оно до такой степени несоизмеримо со всем тем, что представляется бедствием, что одинаково уничтожает, обращает в ничто самую маленькую неприятность: зубную боль и потерю любимых людей, свободы, жизни.

Ну, да будет философствовать, расскажу про себя,

---

<sup>15</sup> Сборники «На каждый день» выходили отдельными выпусками в издании т-ва Сытина. В 1909—1910 гг. вышло в свет шесть выпусков. В их подготовке к печати принимал участие Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940), редактор и издатель «Посредника», один из друзей Толстого.

<sup>16</sup> Гагина Зинаида Михайловна (псевдоним Н. Е. Петрова) — педагог.

<sup>17</sup> «Все в тебе, в любви» — любимое изречение религиозного мыслителя Василия Кирилловича Сютаева, крестьянина Тверской губернии. Толстой виделся с ним на его родине в 1881 году и позднее в Москве и в Ясной Поляне.

так же, как и вы, спасибо вам, делаете. Я с Сашей, Душаном и Ильей Васильевичем<sup>18</sup> четвертый день у Чертковых, и мне очень хорошо. Одно было тяжело, это в Москве и отчасти здесь особенное, неподобающее мне (совершенно искренне говорю) почтение, восхваление. Это тяжело потому, что расчесывают большую, заживающую рану тщеславия. А то уж так хорошо. Так много, не скажу, меня любящих, но одно со мной любящих людей.

Я занят был последнее время избранием и редактированием мыслей Лаодзе и предисловием к нему<sup>19</sup> и еще ответом Польке, который Душан назначил для журнала Поссе<sup>20</sup>...

Сытина я устыдил, и оба «Круга» обещают скоро выпустить. Главная же работа и самая радостная, потому что непрестанно подвигается, и что дальше, то радостнее, — это та работа, которую советую всем и вам, — это работа над собой. В материале этой работы во мне нет недостатка, но и нет безнадежности переработать его.

Пишите про ваши отношения с людьми и про ваши занятия. Ну, прощайте. Как любил вас в присутствии, так же, если не больше, люблю и в отсутствии.

**Л. Толстой**

1909 г., 21 сентября, Ясная Поляна

Спасибо, милый друг Николай Николаевич, что пишете не очень редко. По письмам вашим вижу, что

<sup>18</sup> Душан — Маковецкий Душан Петрович (1866—1921), словак, врач, друг и единомышленник Толстого.

Илья Васильевич Сидорков — слуга у Толстых.

<sup>19</sup> Имеются в виду «Изречения китайского мудреца Лао-Тсе, избранные Л. Н. Толстым». — М.: Посредник, 1910.

<sup>20</sup> Полька — Стефания Ляудвен. Статья «Ответ польской женщине» (вместе с письмом С. Ляудвен) была опубликована в журнале «Жизнь для всех» (1909. — № 12) с большими цензурными сокращениями.

Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — литератор.

вы середка наполовинку — не слишком тоскуете и не храбритесь перед нами, высказывая свое настроение лучше, чем оно есть. Я все надеюсь дожить до вашего возврата, и не продолжением моей жизни, а сокращением вашей ссылки. Узнал всю эту отвратительную и глупую клевету о вас — о прокламации в банках варенья и т. п.<sup>21</sup>. Хотят сделать запрос в Думе. Что-то будет? На это я не надеюсь. Да и вообще не надеюсь, а верю, что все к лучшему. Мне, по крайней мере, все так.

Вчера только вернулись от Черткова. При отъезде из Москвы толпа чуть не задавила нас. У Черткова было мне очень, очень хорошо. Я все трачу чернила и бумагу, хотя с большой экономией, но трачу. С Иваном Ивановичем издаем копеечные книжечки о религиях. Вчера со мной по приезде из Москвы была дурнота такая же, как когда вы меня подняли. Теперь чувствую себя здоровым, но на душе что-то новое, хорошее, далекое от сансары жизни и очень радостное. Саша очень хорошо работает с Варварой Михайловной, помогая мне...

Прощайте, целую вас.

**Лев Толстой**

1909 г., 20 октября, Ясная Поляна

Всю нынешнюю ночь видел вас во сне, милый Николай Николаевич, и видел, что вам хорошо, что у вас друзья, что вас ценят и что мы с вами хорошо поговорили. И вот хочется, что и хотелось после вашего последнего письма, написать вам. Пожалуйста, продолжайте описывать мне ваше и внешнее, и внутреннее состояние. Я то же буду хоть кратко делать о себе.

Я последнее время ничего пристально не пишу. Бу-

---

<sup>21</sup> До Толстого дошли слухи, будто бы Гусев распространял прокламации в банках с вареньем.

дет, довольно я бумаги намарал. Последнее время по разным поводам, между прочим, для фонографа, в который меня заставили говорить, я, чтобы сказать что-нибудь путное и по другим поводам, перечел некоторые мои писания и, прямо скажу, остался ими очень доволен. Читал их как новое, так их забыл, и подумал, что я, кажется, все сказал, что мог и умел, и теперь всё только повторение старого. А дело есть, всегда есть внутреннее, и, слава богу, делается понемногу, чего и вам желаю и надеюсь, что и в вашей душе делается. Например, странно сказать, теперь, на 82-м году, я только понемногу отвыкаю от влияния, забот о суждении людей на мои поступки. Приучаю себя, и безуспешно, при всяком деле вспомнить о том, что — **только перед богом.**

О внешнем нечего говорить, все по-старому; много старых и новых друзей и много радости душевной. Прощайте пока. Кажется, что до свидания. Кажется потому, что хочется мне. Но не загадываю.

**Л. Толстой**

1909 г., 13 ноября, Ясная Поляна

Благодарю за письмо, милый Николай Николаевич. Не знаю, успею ли ответить подробно (хочется), так, по крайней мере, отвечу на вопрос об изложении кратком вами моих писаний. Только могу радоваться такой затее. У вас все есть для того, чтобы сделать это прекрасно, главное: единство разумения.

Про себя скажу, что все больше и больше недоволен своей жизнью, но не отчаиваюсь. За вас радуюсь. Вам лучше, чем мне, потому что вы лучше, чем я.

Ну, прощайте пока.

**Л. Т.**

1910 г., 14 января, Ясная Поляна

Только что собирался и все откладывал ответ на ваше письмо о Шашкове, милый друг Николай Николаевич, как получил ваше второе письмо о Сереже<sup>22</sup>. Спасибо большое вам, милый друг, что пишете часто. Мне всегда нужно и радостно знать о вас.

На первое письмо хотелось сделать два замечания: первое то, что не поддавайтесь чувству раздражения на тех, кто делает все то, что тяжело нам, а берите пример с Сережи. Я смело советую это вам, потому что этот самый совет нужен мне, может быть, больше, чем вам. Всегда борюсь с этим недобрым чувством осуждения.

Второе то, что смотрите не влюбитесь. Этот совет уже только к вам одному относится.

У нас все по-старому. Все вас помнят и любят.

Мысль о том, что комета может зацепить землю и уничтожить ее, мне была очень приятна<sup>23</sup>. Отчего не допустить эту возможность? А допустив ее, становится особенно ясно, что все последствия материальные, видимые, осязаемые последствия нашей деятельности в материальном мире — ничто. Духовная же жизнь так же мало может быть нарушена уничтожением земли, как жизнь мира — смертью мухи. Еще гораздо меньше. Мы не верим в это только потому, что приписываем несвойственно значение жизни вещественной.

Прощайте, милый друг. Может, и телесно увидимся еще в этой жизни.

Л. Т.

---

<sup>22</sup> В письме от 2 января 1910 года Гусев приводил записки из письма к нему С. Н. Дурылина, литератора, посетившего Ясную Поляну 20 октября 1909 года.

<sup>23</sup> Согласно вычислениям английского астронома Э. Галлея, в 1910 году ожидалось прохождение над Землей кометы (названной «Кометой Галлея»), что вызвало в печати много вздорных толков.

\* \* \*

1910 г., 14 февраля, Ясная Поляна

Спасибо, милый Николай Николаевич, что не забываете меня. Всякое ваше письмо, всегда содержательное и доброе, для меня радость и для всех ваших. Всегда читаем вслух и говорим о написанном и написавшем.

Я живу очень, очень хорошо.

То, что тяжело — заваленность делами и невозможность успеть сделать все, что хочется и нужно, — тоже радостно.

Очень мне было интересно то, что вы пишете о суеверии народа. Я беспрестанно сталкиваюсь и как раз перед вашим письмом думал об этом и писал в письмах.

Сейчас у нас Саша свалилась в сильной кори, заразившись от Дорика Сухотина<sup>24</sup>, и мне жалко ее и, грешен, страшно.

Занят я составлением из «На каждый день» 30 по числу дней и отделов книжечек, в которых будет меньше изречений, но самый клёк и упрощенные по форме.

Радуюсь, что вам хорошо, в особенности потому, что хорошо вам не отчего-нибудь, а от себя. «Всё в тебе».

Ну, прощайте, может быть, и до свидания.

Любящий вас Л. Т.

\* \* \*

---

<sup>24</sup> Дорик Сухотин Федор Михайлович Сухотин, сын М. С. Сухотина от первого брака. Михаил Сергеевич Сухотин — муж Татьяны Львовны Толстой, старшей дочери писателя.

1910 г., 25 февраля, Ясная Поляна

Собирался и собираюсь писать — отвечать вам на ваше, как всегда, хорошее, очень хорошее письмо, а сейчас прочел к вам письмо Булгакова и хочется хоть два слова сказать вам, что по-старому люблю вас и, как ни близок мой час, надеюсь или, скорее, желаю еще свидеться с вами.

Как хороша ваша выписка из Чехова! Она просится в «Круг чтения». Я теперь занят 3-й версией «Круга чтения», и, как всегда, пока занят ею, она мне очень нравится. Еще все напрашивается художественное баловство. Не знаю, успею ли.

Саша была опасно в кори, теперь выздоравливает. Как вы? В нынешнем письме мало пишете о себе. Но и за то спасибо.

Радуюсь, что вы уничтожили то, что разделяло вас с Чертковым<sup>25</sup>. Вы оба слишком близки к одному и тому же, чтобы вам расходиться.

Л. Т.

\* \* \*

1910 г., 18 марта, Ясная Поляна<sup>26</sup>

Получил ваше последнее письмо, милый Николай Николаевич, и стараюсь, но не могу не огорчиться и об том, что все-таки я, живущий себе спокойно среди всех возмутительных условий роскоши и безопасности (хотя бы сглазить), все-таки я — причина и страданий, и тяжелых испытаний любимых мною, таких хороших людей.

---

<sup>25</sup> Описывая свое душевное состояние, Гусев сообщал, что стремится уничтожить в себе недобрые чувства к людям, в частности, к В. Г. Черткову.

<sup>26</sup> В письме от 9 марта 1910 года Гусев сообщил, что ему грозит новое привлечение к суду, так как при обыске у одного ссыльного нашли запрещенные статьи Толстого, которые он дал ему читать. При обыске у Гусева было найдено семнадцать запрещенных книг Толстого и Кропоткина.

Чувство мое о вас двойное: вера в то, что вы перенесете испытание так, как вы, знаю, искренне пишете, готовитесь перенести, и страх за тяжелые минуты, часы, может быть (чего избави бог), месяцы горя, уныния и раскаяния в том, чему надо радоваться, а не раскаиваться.

Пожалуйста, если будет возможно писать мне, пишите всю задушевную правду, если хотите, мне одному. Как английская пословица говорит: что настоящее общение только вдвоем...

Все наши домашние, включая Сухотиных<sup>27</sup>, все вас очень любят и искренне опечалились вашим письмом. Но все-таки мне вы много ближе всех, и насколько мы близки к тому, чем хотим жить, настолько близки друг к другу.

В дурные минуты думайте о том, что то, что с вами случилось, — это тот материал, над которым вы призваны работать. Мне, по крайней мере, эта мысль и чувство, вызываемое ею, всегда очень помогает.

Прощайте, милый друг, постараемся подняться на ту высоту, на которой безразлично — видеться или не видеться до смерти и сейчас умереть или через Х лет. Подняться и держаться на этой высоте мне легче с моей старостью, чем вам с вашей молодостью, но все-таки вы можете с вашим — не умом — уму грош цена, — а с вашим добрым, любящим и открытым на все лучшее сердцем.

**Лев Толстой**

1910 г., 25 июня, Ясная Поляна

Спасибо, милый Николай Николаевич, за письма. Я был у Чертковых, и там ваше длинное хорошее письмо. Что не пишу вам чаще, простите и знайте, что это не от недостатка памяти о вас и, главное, люб-

<sup>27</sup> Сухотины — семья М. С. и Т. А. Сухотиных.

ви к вам. Весь стареюсь, слабею, и обратно пропорционально увеличиваются требования не столько других ко мне, а самого к себе.

У Чертковых пробыл очень хорошо десять дней. Кое-что по мелочам пишу всякое, что, вероятно, дойдет и до вас, так как вы принадлежите к тем людям, которые приписывают несвойственное значение моим мыслям. Приписываю же я важность, во-первых, книжечкам из «На каждый день» переработанным, которые печатаются в «Посреднике», и еще начатой мною статье **о безумстве, сумасшествии** нашей жизни в самом простом смысле этого слова. Хотелось бы до смерти (до смерти в обоих смыслах! высказать то, что имеют сказать о признаках этого безумия и о причинах его и способе лечения<sup>28</sup>.

Почему-то мне кажется, что скоро увижусь с вами. Может быть, оттого, что очень желаю этого. Вырезку из газет о поступках несчастных безумных напрасно прислали и читали<sup>29</sup>. Я стараюсь не слышать, не читать и не говорить о последствиях явных для меня причин, тем более что, читая, слушая такие рассказы, слишком легко, — что и обычно делается, — обвинять невинных.

Братски целую вас.

**Л. Толстой**

1910 г., 18 сентября, Кочеты

Сажусь писать вам, милый Николай Николаевич, и вперед знаю, что ничего хорошего не напишу, но

---

<sup>28</sup> Имеется в виду статья «О безумии», оставшаяся незавершенной.

<sup>29</sup> Гусев приложил к своему письму вырезку из газеты «Утро России» (1910. — 8 июня. — № 166) со статьей А. Стаховича «Случай». В ней сообщалось о жестокой расправе над крестьянами Лебедянского уезда Тамбовской губернии за их отказ выделиться из общины на хутора. В результате столкновения с войсками шесть человек было убито и пятнадцать ранено.

не хочется оставлять вашего такого хорошего письма из тюрьмы без ответа...

Сейчас занят был маленьким письмом Гроту в сборник об его брате-философе<sup>30</sup>. Хотелось сказать о различии между жизнепониманием людей научных и религиозных и о преимуществе вторых в смысле строгости и определенности, то есть как раз обратное тому, что обыкновенно полагается. Ну, да вы прочтете, если напечатается.

Когда я пишу заключенным, как нынче Калачеву<sup>31</sup>, я испытываю сложное чувство радости, сострадания, зависти и стыда за свою жизнь. К вам, как заключенному, я только не испытываю сострадания, но зато больше зависти и стыда за свою жизнь. Надеюсь, вы теперь на воле. Напишите.

Нынче (со страхом, что я ошибаюсь, думая, что есть то, чего мне хочется) думал о том, что наша революция — с ее подавлением и грубостью приемов этого подавления — было то самое, чего только можно желать людям, как я, верующим в то, что сила не в силе, то есть в обмане, а сила в мысли, то есть в правде, в сознании своего назначения и положения. И ничто не могло вызвать этого в огромной массе народа с такой ясностью и силой, как наша неудачная революция и, главное, подавление ее.

Надеюсь, скоро теперь увидимся, если не умру раньше вашего срока. Во всяком случае, пока жив, всегда с любовью и уважением думаю о вас.

**Л. Толстой**

---

<sup>30</sup> Грот Константин Яковлевич — брат Николая Яковлевича, философа (1852—1899). Их отец, Грот Яков Карлович (1812—1893), был филологом, академиком Петербургской АН (1856).

<sup>31</sup> П. В. Калачев — народный учитель из г. Бугуруслана, отбывал четырехлетний срок заключения за отказ от военной службы по религиозным мотивам.

1. Радищев А. Н. Полн. собр. соч. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 3.
2. Сочинения Державина. — 2-е изд. — СПб, 1786. — Т. 5: Переписка (1773—1793).
3. Воспоминания В. И. Панаева // Русский вестник. — 1866. — № 8.
4. Аксаков С. Т. Воспоминания // Собр. соч.: В 5 т. — М.: Правда, 1966. — Т. 2.
5. Дора Клод-Жозеф. Нещастия, от непостоянства происходящие, или письма маркизы Сирсе и графа Мирбеля. — СПб, 1778.
6. Замков Николай. Иван Иванович Варакин, поэт-крепостной конца XVIII и начала XIX века // Русский библиофил. — 1915. — № 6.
7. Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России: Вторая половина VIII — начало XIX века. — М.: Наука, 1983.
8. Дневник Порошина // Русская старина. — 1881. — № 30, 31, 32.
9. Записки В. И. Штейнгеля // Мемуары декабристов: Северное общество. — М.: Изд-во МГУ, 1981.
10. Ссылка М. М. Сперанского в 1812 г. // Русская старина. — 1876. — Т. 16; 1902. — Т. 5.
11. Корф М. Жизнь графа Сперанского. — СПб, 861. — Т. 2.
12. Письма Сперанского к А. А. Столыпину // Русский архив. — 1869. — № 10.
13. Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М. К. Лемке. — Пг., 1915.
14. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — Т. 21: Письма 1832—1838 годов.
15. Герцен А. И. Собр. соч.: В 8 т. — М.: Правда, 1975. — Т. 4.
16. Дневник В. А. Жуковского // Русская старина. — 1902. — Т. 110.
17. Юрьевич С. А. Дорожные письма во время путешествия по России с покойным государем Александром Николаевичем в 1837 г. // Русский архив. — 1887. — Т. 4.
18. Письма Н. Ф. Павлова С. П. Шевыреву // Отчет публичной библиотеки за 1892 год. — Пб., 1895.
19. Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 476, оп. 1, д. 49 (Письма Павлова Сатину).
20. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. — М.: Худож. лит., 1975. — Т. 18, кн. 1: Письма 1839—1868.
21. Нельмин Л. (Станюкович). В дальние края: Путевые наброски и картины // Русская мысль. — 1886. — № 12.
22. Некрасова Е. С. Станюкович К. М. Его поездка и жизнь в Томске (по письмам и воспоминаниям) // Русская мысль. — 1903. — № 10.
23. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л.: Наука, 1985. — Т. 28, кн. 1: Письма 1832—1859.
24. Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. — М., 1967. — Т. 2: Воспоминания Л. П. Шелгуновой и М. Л. Михайлова.

25. Решетников Ф. М. Полн. собр. соч. / Под ред. И. И. Векслера. — Свердловск, 1948. — Т. 6.
26. Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. — Свердловск, 1962.
27. Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1955. — Т. 8.
28. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. — Л.: Наука, 1968. — Т. 13, кн. 1: Письма 1880—1882.
29. Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1956. — Т. 10: Письма 1879—1921.
30. Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1955. — Т. 7, кн. 3: История моего современника.
31. Короленко В. Г. Письмо в редакцию // Молва. — 1880. — 12 окт.
32. Новокрещенных Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Решетникове // Екатеринбургская неделя. — 1891. — № 11.
33. Успенский Г. И. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1957. — Т. 8.
34. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. — М.: Гослитиздат, 1949. — Т. 15.
35. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1981. — Т. 10: Письма.
36. А. П. Чехов в воспоминаниях современников. — М.: Гослитиздат, 1955.
37. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. — М., 1955. — Т. 74, 75, 79.
38. Большаков Л. Любя Чемоданова... / Рифей: Уральский литературно-краеведческий сборник. — Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1976.
39. Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. — М., 1973.
40. Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 277, оп. 1, д. 51.
41. Рабинович Р. Опасный миллионер // Урал. — 1973. — № 11.

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя . . . . .	3
Александр Николаевич Радищев (1749—1802)	6
Иван Иванович Панаев (1753—1796) . . . . .	16
Семен Андреевич Порошин (1741—1769) . . . . .	29
Иван Иванович Варакин (1759—1817) . . . . .	30
Владимир Иванович Штейнгель (1783—1862)	34
Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839)	39
Александр Иванович Герцен (1812—1870) . . . . .	64
Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)	81
Николай Филиппович Павлов (1804—1864) . . . . .	86
Евграф Александрович Вердеревский (1825—?) . . . . .	112
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) . . . . .	130
Константин Михайлович Станюкович (1843—1903)	133
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881)	141
Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865)	145
Людмила Петровна Шелгунова (1832—1901)	149
Федор Михайлович Решетников (1841—1871)	151
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1919) . . . . .	181
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) . . . . .	196
Владимир Галактионович Короленко (1853—1921)	210
Глеб Иванович Успенский (1843—1902) . . . . .	239
Антон Павлович Чехов (1860—1904) . . . . .	242
Лев Николаевич Толстой (1828—1910) . . . . .	266
Источники . . . . .	286

Научно-популярное издание

**„Я увез из Перми  
воспоминание...“**

Письма, дневники, воспоминания  
русских писателей,  
связанные с Пермским Прикамьем

Редактор *С. Осипова*  
Художник *А. Филиппов*  
Фотограф *А. Никифоров*  
Художественный редактор *С. Можавва*  
Технический редактор *В. Чувашов*  
Корректор *Л. Крамаренко*

ИБ № 1752

Сдано в набор 21.03.89. Подписано в печать 27.07.89. ЛБ07344. Формат 70×90<sup>1/32</sup>. Бум. тип. № 2. Гарнитура жури.-рубл. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отт. 10,82. Уч.-изд. л. 15,180. Тираж 5000 экз. Заказ № 225. Цена 60 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Я 88 «Я увез из Перми воспоминание...»: Письма, дневники, воспоминания русских писателей, связанные с Пермским Прикамьем / Сост. Д. А. Красноперов. — Пермь: Кн. изд-во, 1989. — 287 с.

ISBN 5-7625-0093-4

Литературно-краеведческая хрестоматия о связях русских писателей с Прикамьем.

Я 1805080000—51  
М152(03)—89 Без объявл.

ББК 26.891